

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ
ПРИГОВОРЕННАГО
КЪ СМЕРТИ.

СОЧИНЕНІЕ
Виктора Гюго.

Переводъ съ Французскаго.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
въ Типографіи ИМПЕРАТОРСКАГО Воспитан. Дома.

1830.

Печатать позволяется

съ тѣмъ, чтобы по оппечашаніи представлены были
въ Ценсурный Комитетъ три экземпляра.

С. Петербургъ. 9 Декабря 1829 года.

Ценсоръ К. Сербиновичъ.

ИЗЪ ТРАГЕДИИ

КОМЕДИЯ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ Л И Ц А.

Госпожа де Блинваль.

Кавалеръ.

Эргастъ.

Элегическій Стихотворецъ.

Философъ.

Толстый Мушкетеръ.

Сухощавый Мушкетеръ.

Женщины.

Слуга.

ИЗЪ ТРАГЕДИИ
КОМЕДИЯ.

Зала.

Элегическій Стихотворецъ (читая).

.
.
На утро, шумъ шаговъ по лѣсу раздавался,
И съ громкимъ лаемъ песь вдоль по рѣкѣ скинался.
Вошь въ древнемъ замкѣ на балконъ
Пришла опять въ слезахъ прелестная Лаура,
И слышитъ ропотъ бьющихся волнь;
Но лютни трубадура
Умолкнулъ спрасный спонъ!!

Все общество.

Браво! прекрасно! восхищительно!

(Хлопають руками.)

Госпожа де Блинваль.

Въ семь окончаніи естъ какая-то неизъяснимая
шайншвенность, извлекающая изъ очей слезы.

Элегическій Стихотворецъ.

Развязка скрыша.

Кавалеръ, (качая головою.)

Лютня, пѣвецъ, это опшывается романшизмомъ!

Элегическій Стихотворецъ.

Но здѣсь, Сударь, романшизмъ основательный, правдоподобный. Чшо дѣлать? не надобно бышь слишкомъ взыскашельнымъ.

Кавалеръ.

Вопшь чшо и поршишь вкусъ. Я опдалъ бы всѣ романшическіе стихи за одно сіе чешырешнише:

Парнассъ, Цишера, Игры, Смѣхъ

Любезнаго Бернара извѣщаютъ,

Чшо милое любви искусство приглашаютъ

Къ искусству нравиться опужинашь въ чешвергъ.

Вопшь истинная поэзія! *Искусство любить будетъ къ искусству нравиться въ четвергъ на ужинъ!* Восхишительно! Нынѣ же *лютня*, *трубадуръ*. Переспали писать легкія стихопворенія; но я не поэшъ.

Элегическій Стихотворецъ.

Однако Элеги.

Кавалеръ.

Легкія стихопворенія, сударь.

Одинъ изъ присутствующихъ, Элегическому Стихотворцу.

Позвольше, Милоспивый Государь, сдѣлать замѣчаніе. Вы говорите *древній* замокъ, почему не *готическій*.

Элегическій Стихотворецъ.

Готическій слово, неупотребительное въ стихахъ.

Тотъ же изъ присутствующихъ.

А! это дѣло другое.

Элегическій Стихотворецъ, (продолжая.)

Вся важность въ помѣ, сударь, чѣобы умѣшь держаться въ границахъ. Я не изъ числа пѣхъ, которые хопяшь ниспровергнуть всѣ правила, ввести старинную безполковщину. Я романтикъ, но романтикъ умѣренный. Тоже наблюдаю и въ отношеніи къ чувствованіямъ: касаюсь души слегка, люблю мечтательность, меланхолю, а не кровь, не ужасы; развязку я предоспавляю угадывать. Знаю, что есть изступленные, люди съ разспроеннымъ воображеніемъ, копорые. Вопшь на примѣрь, чипали ли вы, Милоспивыя Государыни, новый Романъ?

Женщины.

Какой?

Элегическій Стихотворецъ.

Послѣдній день.

Толстый Мущина.

Довольно, сударь; знаю, объ чемъ вы говорите. Одно заглавіе производить во мнѣ судороги.

Госпожа де Блинваль.

И во мнѣ также. Ужасная книга! Она у меня здѣсь.

Женщины.

Покажите, покажите.

(Книга переходитъ изъ рукъ въ руки.)

Одинъ изъ присутствующихъ, (чишая.)

Послѣдній день при.

Толстый Мущина.

Пощадите, Сударыня!

Госпожа де Блинваль.

Въ самомъ дѣлѣ это книга преопасная; ошь не получишь спазмы, сляжешь въ постелю.

Одна изъ Женщинъ, (пихо.)

Я прочишаю эту книгу.

Толстый Мущина.

Нельзя не согласишься, что нравы день оподня болѣе порпшпся. Боже мой! спрашная мысль! высчишывашь, обсуждашь, разбирашь, одно за другимъ, всѣ физическiя спраданиа, не исключая ни одного, всѣ нравспвенныя муки, копорыя долженъ чувспвовашь, въ день казни, приговоренный къ смерти. Не жестоко ли это? могли ли вы думать, Сударыни, чшобы такая мысль вспрѣшила для себя писателя, а для шакаго сочинителя нашлась публика.

Кавалеръ.

Вошь величайшая безразсудность.

Госпожа де Блинваль.

А кто Авпоръ?

Толстый Мущина.

На первомъ издании не было имени сочинителя.

Элегическiй Стихотворецъ.

Его сочиненiя есть еще два романа,
Боже мой, я забылъ ихъ заглавiя. Первый начинаешся въ Моргѣ, а оканчивается на Гревской площади. Въ каждой главѣ людофдъ глашашь по ребенку.

Толстый Мущина.

Вы читали это?

Элегическій Стихотворецъ.

Читалъ, Сударь, дѣйствіе происходитъ въ Исландіи.

Толстый Мущина.

Въ Исландіи, вошь ужасъ!

Элегическій Стихотворецъ.

Сверхъ того онъ писалъ Оды, Баллады, еще не знаю что-то, гдѣ есть чудовища съ синими тѣлами.

Кавалеръ. (со смѣхомъ.)

Тѣфу пропасть! вошь должно быть опчально.

Элегическій Стихотворецъ.

Онъ издалъ также драму, — сочиненіе, называющееся драмою, — памъ слѣдующій прекрасный стихъ:

Седьмое Февраля семь сошь седьмого года.

Одинъ изъ присутствующихъ.

Вошь стихъ!

Элегическій Стихотворецъ.

Его можно написать цифрами, Милоспивыя Государыни: — 7 Февраля 707 года.

(Смѣется. Раздается смѣхъ въ собраніи.)

Кавалеръ.

У насъ нынѣ совсѣмъ особенная поэзія.

Толстый Мущина.

Ахъ, Боже мой! Да этошь человекъ не знаетъ стихосложенія! какъ зовушь его?

Элегическій Стихотворецъ.

Фамилью его прудно и помнишь и выговари-
ваешь. Онъ долженъ бышь изъ Гошеовъ, Визигошеовъ,
Острогошеовъ.

(Смѣется.)

Госпожа де Блинваль.

Онъ негодяй.

Толстый Мущина.

Предурный человекъ.

Одна изъ Женщинъ.

Одинъ изъ знакомыхъ его говорилъ мнѣ

Толстый Мущина.

Вы знаете кого нибудь изъ его знакомыхъ?

Молодая Женщина.

Знаю, и сей-по знакомый говорилъ, что упо-
минаемый нами писапель человекъ шихій и про-
спый, что онъ живетъ въ уединеніи, и по цѣлымъ
днямъ играешъ съ маленькими своими дѣтками.

Стихотворецъ.

А ночью зиждешъ бредъ, произведенья пьмы. — Вопь
странно; я выразился спихомъ совсѣмъ невзначай.
Да еще въ эшомъ спихѣ:

А ночью зиждешъ бредъ, произведенья пьмы.

И прекрасная Цезура. — Оспаешся найши дру-
гую риѣму. Боже мой!

Госпожа де Блинваль.

Quidquid tentabat dicere, versus erat.

Толстый Мущина.

Вы говорили, что у Сочинителя, объ которомъ идеть рѣчь, есть маленькія дѣти. Не можетъ быть, Сударыня. У Автора шакаго произведенія! у Сочинителя столь ужаснаго романа!

Одинъ изъ присутствующихъ.

Но съ какою цѣлю написалъ онъ сей романъ?

Элегическій Стихотворецъ.

Не могу понять.

Философъ.

По видимому, онъ хотѣлъ содѣйствовать уничтоженію смертной казни.

Толстый Мущина.

Отвращительное произведеніе, говорю вамъ!

Кавалеръ.

Дуэль съ Палачемъ.

Элегическій Стихотворецъ.

Сочинитель взбѣшенъ на гильѣшину.

Сухощавый Мущина.

Я напередъ знаю; вся книга одно высокопарное выпійствованіе.

Толстый Мущина.

Совсѣмъ нѣтъ. Собственно о смертной казни врядъ найдется двѣ страницы. Всѣ прочее ощущенія.

Философъ.

Вошь что неосновательно. Предметъ заслуживалъ разсужденій. Драма, романъ ничего не доказы-

ваюшъ. Припомъ я чипалъ самую книгу, она никуда не годится.

Элегическій Стихотворецъ.

Несносная книга! Въ помъ ли состоишь искусство, чтобы, какъ говорится, лѣзть на спѣну, бить стекла. По крайней мѣрѣ хотя бы знашь преступника? Но не шущъ-по былѸ. ЧпѸ онъ сдѣлалъ? никто не знаетъ. Можешъ бышь онъ бездѣльникъ. Въ правѣ ли кто возбуждашь въ насъ участіе къ неизвѣстному лицу.

Толстый Муцна.

Писатель не долженъ заставляшь чипателя своего дѣлать физическія спраданія. Ежели я бываю во время представленія трагедій, и вижу, какъ между собою рѣжущся, эшо мнѣ ничего; но отъ сего романа волосы на головѣ спановяшся дыбомъ, подираетъ по кожѣ, и видишь спрашные сны. Прочисавъ его, я при дня былъ въ постель.

Философъ.

Прибавше къ тому царствующую въ сей книгѣ холодность и принужденность.

Стихотворецъ.

Эша книга! книга!

Философъ.

Точно. — И, какъ вы изволили передъ симъ объяснишься, Сударь, шущъ нѣтъ истинной эстетики. Можешъ ли занимать отвлеченность или чистая сущестивенность. Нѣтъ, пиши такъ, чтобы намекашь каждому лично объ немъ. Сверхъ того въ слоги нѣтъ ни простиоты, ни ясности. Онъ ошзывается спариной. Не эшо ли говорили вы, Сударь?

Стихотворецъ.

Вы говорите правду, вы говорите правду. Не надо личностей.

Философъ.

Осужденный незанимашелень.

Стихотворецъ.

И не можете быть занимательнымъ; вы видите пресупленіе безъ угрызений совѣсти: я избралъ бы прошивное. Я рассказалъ бы Исторію своего осужденнаго. Онъ изъ честнаго семейства, съ хорошимъ воспитаніемъ, горитъ любовью, мучится ревностью, впалъ въ какой нибудь просупокъ весьма обыкновенный, и чувствуетъ угрызения совѣсти, угрызения, страшныя угрызения; но человѣческіе законы неумолимы; онъ долженъ умереть, и здѣсь-то я обсудилъ бы вопросъ о смертной казни. Вотъ въ чемъ дѣло!

Госпожа де Блинваль.

Да, да!

Философъ.

Извините. Такая книга не доказала бы ничего. Изъ частныхъ случаевъ нельзя выводять законы для общаго.

Стихотворецъ.

Такъ почему бы не избрать Героемъ на примѣръ. Мальзерба, добродѣтельнаго Мальзерба? Его послѣдній день, его казнь? О! тогда представилось бы прекрасное и благородное зрѣлище. Я проливалъ бы слезы, я бы дрожалъ, я рвался бы вмѣстѣ съ нимъ на мѣсто казни.

Философъ.

А я совсѣмъ нѣтъ.

Кавалеръ.

И я также. Вашъ Г. Мальзербъ былъ въ сущест-
ствѣ мятежникъ.

Философъ.

Казнь Мальзерба не служить опроверженіемъ
смертной казни вообще.

Толстый Мущина.

Что за смертная казнь? Зачѣмъ говоришь объ
ней? Какое вамъ дѣло до смертной казни? Сочини-
тель долженъ быть самой дурной нравственности;
ибо мучить насъ въ своей книгѣ такимъ вздоромъ.

Госпожа де Блинваль.

Совершенная правда: у него должно быть пре-
злое сердце.

Толстый Мущина.

Онъ водить насъ по шюрмамъ, по галерамъ,
по Бисепру: это весьма непріятно. Пусть всѣ сіи
мѣста въ самомъ онвращительномъ положеніи; но
при всемъ этомъ обществу какое до того дѣло?

Госпожа де Блинваль.

Тѣ, которые издавали законы, были не дѣши.

Философъ.

Конечно, однако, представляя вещи въ истин-
номъ ихъ видѣ.

Сухощавый Мущина.

Вопш истины-шо и недостаешъ. Что въ со-
стоянтіи сказать Стихотворецъ о такихъ предме-
тахъ? для эшаго надобно быть по крайней мѣрѣ Ко-
ролевскимъ Прокуроромъ. Напримѣръ: я читалъ въ

одномъ опривѣ, приведенномъ изъ сей книги, не помню, въ какомъ-то Журналѣ, что осужденный не говоритъ ничего, когда читають ему смертный приговоръ его. — Ложь! — При мнѣ одинъ приговоренный къ смерти испустилъ въ эту минуту ужасный крикъ. — Увѣрю васъ.

Философъ.

Позвольте.

Сухощавый Мушкетеръ.

Послушайте, Милосивые Государи, гильёпина, Гревская площадь, — всё это обнаруживаетъ дурный вкусъ. а въ доказательство скажу вамъ, что, по видимому, книга сія поршишь вкусъ, дѣлаешь насъ неспособными къ чистымъ, свѣжимъ, естественнымъ ощущеніямъ. Ахъ! когда возстанутъ поборники здравой либературы? Я желалъ бы сдѣлаться членомъ Французской Академіи, и труды мои дають мнѣ на то право. Господинъ Эргастъ, вы заѣдаете въ Академіи, скажете же, какъ думаете вы о послѣднемъ днѣ приговореннаго къ смерти?

Эргастъ.

Право, Сударь, я не читалъ эшаго сочиненія, да и читать его не буду. Я объѣдалъ вчера у Госпожи де Сенанжъ, и Маркиза Мориваль упоминала о разбираемой вами книгѣ Герцогу Мелькуру. Говорятъ, что въ ономъ есть личности на Судей и особенно на Президента д'Алимона. Аббатъ Флорикуръ былъ такле въ негодованіи. Кажется, въ сей книгѣ есть главы пропивъ вѣроисповѣданія и Правленія, господствующихъ во Франціи. Ахъ! еслибъ я былъ Королевскимъ Прокуроромъ.

Кавалеръ.

Что значить шупъ Королевскій Прокуроръ! Вспомните Хартію, свободу книгопечатанія! Не смотря на то, поэпу ли уничтожатъ смершную казнъ? Нѣтъ, пусть кто нибудь въ прежнія времена осмѣлился бы издать романъ прошивъ испязаній....! — Но, со времени взятія Бастиліи, пиши, что хочешь. Книги дѣлають ужасное зло.

Толстый Мущина.

Ужасное. — Прежде всѣ были спокойны, ни о чемъ не думали. Конечно по временамъ опсѣкали во Франціи голову, много двѣ въ недѣлю; но безъ шума, безъ соблазна. Ничего не говорили. Никто о помъ не думалъ.... Теперь совсѣмъ другое, вопъ книга.... — книга, опъ кошорой кружится голова!

Сухощавый Мущина.

Какъ Присяжному дѣлашь приговоръ, прочитавъ такую книгу?

Эргастъ.

Она возмущаетъ совѣсть.

Госпожа де Блинваль.

Ахъ! книги! книги! кто сказалъ бы это о романъ?

Стихотворецъ.

Доказано, что книги служатъ весьма часто ядомъ, умерщвляющимъ общественный порядокъ.

Сухощавый Мущина.

Не говоря уже о языкѣ, кошорый господа романшики также разрушаютъ.

Стихотворецъ.

Не станемъ смѣшивашь, Сударь, однихъ роман-
шиковъ съ другими.

Сухощавый Мущина.

Безвкусіе, безвкусіе!

Эргастъ.

Вы правы. Безвкусіе.

Сухощавый Мущина.

На это отвѣчать не найдешся.

Философъ, (опираясь на кресла одной изъ женщинъ.)

Площадный разговор!

Эргастъ.

Несносная книга!

Госпожа де Блинваль.

Не кидайте ея въ огонь: она изъ библіотеки
для чтенія.

Кавалеръ.

Поговоримъ о нашихъ временахъ. Какъ всё съ
тѣхъ поръ перемѣнилось къ худшему, и вкусъ и нра-
вы! Помните ли, Госпожа де Блинваль, какъ было
въ наше время?

Госпожа де Блинваль.

Нѣтъ, Сударь, не помню.

Кавалеръ.

Мы были народъ самый тихій, самый веселый,
самый остроумный. Безпрестанно прелесные празд-
ники, милые стихи; наслажденье! что можешь быть

привлекательнѣе Мадригала Г. Лагарпа на балъ, данный Маршалшею Мальи въ тысяча семьсотъ. . . . въ день казни Даміеня?

Толстый Мущина, (вздыхая.)

Счастливое время! Теперь нравы ужасные и книги также. Исполняется прекрасный стихъ Буало: Искусства не цвѣтушъ при развращеніи нравовъ.

Философъ, (пихо Спихотворцу.)

Пойдушъ ли здѣсь къ ужину?

Элегическій Стихотворецъ.

Сей часъ позовушъ.

Сухощавый Мущина.

Въ нашъ вѣкъ, хотяшъ ли уничтожишъ смертную казнь; пишущъ романы ужасные, безнравственные, безвкусные: *последній день приговореннаго къ смерти*, и Богъ знаетъ что.

Толстый Мущина.

Послушайте, мой любезный, перестанемъ говорить объ этой книгѣ, а кспати, скажите мнѣ, что дѣлается у васъ съ тѣмъ челоуѣкомъ, котораго жалобу опринули мы за при недѣли передъ симъ?

Сухощавый Мущина.

Ахъ потерпите немного! я здѣсь въ отпускѣ, дайте мнѣ отдохнуть. Подождите моего возвращенія! Впрочемъ, если отсрочка сія кажется для васъ слишкомъ продолжительною, я опишу къ своему помощнику. . . .

Слуга, (входя.)

Сударыня, кушанье готово.

Двумъ случаямъ можно приписывать существованіе сей книги. Или въ самомъ дѣлѣ попался свершокъ бумагъ, на которыхъ начертаны были, одна за другою, послѣднія мысли несчастнаго; или нашелся мечпашель, наблюдавшій природу для пользы искусствъ, философъ, поэтъ или другій кто нибудь, который избралъ сію мысль предметомъ своихъ думъ; овладѣлъ ею или, лучше сказать, самъ предался оной до такой степени, что она какъ бы сама излилась на бумагу.

Изъ двухъ сихъ объясненій, мечпашель, выбирай любое. —

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ

ПРИГОВОРЕННАГО КЪ СМЕРТИ.

I.

Бисетръ.

Приговоренъ къ смерти!

Вошь уже пять недѣль живу я съ сею мыслію, одинъ съ нею неразлучно; она всечасно мучишь меня, непрестанно давишь своимъ бременемъ.

Нѣкогда, ибо, кажешся, я прожилъ здѣсь не недѣли, а годы, былъ и я шакій же человѣкъ, какъ другіе. — Для каждаго дня, каждаго часа, каждой минушы была своя мысль, въ моемъ юномъ и роскошномъ умѣ полпились мечтанія. Онѣ развивалъ ихъ однѣ за другими, безъ порядка, безъ конца, разцвѣчая непрерывно шемную и непрочную шкань жизни. На ней изображались попеременно по младыя дѣвы, по блестящія злапомъ маншіи, по шумные и освѣщенные театры, по опять молодыя дѣвы и прогулки, въ сумракѣ ночи, подъ широкими вѣшвами каштановыхъ деревьевъ. Въ моемъ воображеніи было вѣчное празднество; я былъ свободенъ.

Теперь я узникъ. Тѣломъ моимъ завладѣла шемница; умъ мой оковала одна мысль, ужасная, кровавая, неопшшупная мысль. Я думаю объ одномъ, убѣжденъ въ одномъ, знаю одно. Приговоренъ къ смерти!

Что ни дѣлаю, адская мысль сія всё предо мною, какъ посинѣлый скелешъ, спшрожишь меня, опшгоняешъ всякое развлеченіе, одна со мною спшрадалицемъ лицомъ къ лицу, и поштрясаешъ меня ледяными руками своими, когда я хочу опшвраиить чело или смежишь взоры. Она прокрадываешся во всё виды, подѣ коими умъ мой желалъ бы опшней укрышься, смѣшиваешся, какъ ужасный опшголосокъ, со всёми словами, которыя я слышу, припадаешъ со мною къ ненависшнымъ рѣшеткамъ моей шемницы, шерзаешъ меня, когда я бодрствую, уловляешъ мой судорожный сонъ, и появляешся въ моихъ сновидѣніяхъ въ видѣ сѣкиры.

Преслѣдуемый ею, я пробудился въ испугѣ, говоря самъ себѣ: Ахъ! эшо одна мечта! но прежде нежели опшягченныя очи мои успѣли раскрышься и увидѣшь начертаніе сей роковой мысли въ ужасной сущеспвенности, меня окружающей, на мокрой и сырой плитѣ моей шемницы, въ блѣдныхъ лучахъ моей ночной лампы, на грубой шкани моего плашья, на мрачномъ лицѣ карауль-

наго, копораго сумка свѣшился сквозь рѣ-
шешку моего чулана, нѣкій голосъ, кажешся,
прошепшалъ уже мнѣ: приговорень къ смерти.

Было прекрасное утро въ Августѣ мѣсяцѣ. Три дня уже производился мой судъ; три дня уже имя и преступленіе мое собирали каждое утро въ судейскую залу толпу зрителей, которые сѣли въ ней на скамьяхъ, какъ вороны вокругъ шрупа; три дня уже мелькали предо мною, подобно привидѣніямъ, судьи, свидѣтели, Адвокаты, Королевскіе Прокуроры; но казались они мнѣ шушами, но дымились кровью; но поспѣшно окружали ихъ мракъ и ужасъ. Въ первыя двѣ ночи, отъ безпокойства и страха, я не могъ уснуть: въ шрецию, спалъ отъ скуки и усталости. Въ полночь оставилъ я присяжныхъ на разсужденіи. Меня отвели въ темницу на солому; и я въ шощъ же мигъ погрузился въ глубокой сонъ, въ сонъ забвенія. Прошло много дней, а сонъ сей посѣпилъ меня впервые.

Я крепко спалъ. Пришли разбудить меня. Какъ ни тяжелы были шаги шюремнаго стража, какъ ни стучали подбитыя гвоздями башмаки его, какъ ни гремяла связка темничныхъ ключей, какъ ни скрипѣли запоры; но я вышелъ изъ безпамятства только въ ту минуту, когда грубый голосъ шюремщика потрясъ мой слухъ, а рука его под-

кнула меня въ плечо. — „Вставайте же!“ — Я открылъ глаза, вскочилъ въ ужасъ на кровати. Въ ту минушу, сквозь узкое и высокое окно своего логовища, на пополкъ соседняго корридора, на семь пополкъ, изображавшемъ для меня сводъ небесный, увидѣлъ я желтый отблескъ, въ которомъ глаза, привыкшіе ко мраку шемницы, умбюпшъ такъ хорошо распознавать солнце. Я люблю солнце.

Время прекрасное, сказалъ я шюремщику. Онъ молчалъ нѣсколько времени, какъ бы недоумѣвая, спонло ли шрода попрашиться словомъ, попомъ съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ проворчалъ грубо: бышь можешъ.

Я пребывалъ неподвижнымъ, умъ мой былъ полуусыпленъ; уста улыбались, взоръ поглощалъ злапый отсвѣтъ солнца, пріяпно разцвѣчивавшій пополокъ. Прекрасный день, повторилъ я. Да, отсвѣчалъ мнѣ шюремщикъ, вась ждушъ.

Сии немногія слова, какъ паушина, оспанавливающая полешъ насѣкомаго, внезапно возвратили меня въ существенность. Я увидѣлъ опять, какъ въ блескъ молніи, мрачную судейскую залу, полукружіе судей, покрытое окровавленными рубищами, при ряда свидѣтелей съ глупыми лицами, двухъ

жандармовъ на обоихъ концахъ моей скамьи; въ моихъ глазахъ опять заволновались черныя плашья, зашевелились вдали въ сумракъ головы народа, и мнѣ показалось, что остановились на мнѣ неподвижно взоры двенадцати присяжныхъ, кошорые бодрствовали, когда я спалъ.

Я вспалъ: зубы мои спучали одинъ объ другій, руки дрожали, и я не зналъ, гдѣ опыскашь свое плашье, ноги мои были слабы. На первомъ шагѣ я сполкнулся, какъ носильщикъ подъ слишкомъ великимъ бременемъ. При всемъ шумѣ я шелъ вслѣдъ за шюремщикомъ.

Оба жандарма ожидали меня у порога шюрмы. На меня падъли кандалы. Въ нихъ былъ небольшой многосложный замокъ, кошорый тщательнo заперли. Я не прошивился; шакимъ образомъ была машина на машинѣ.

Мы прошли одинъ изъ внутреннихъ дворовъ. Свѣжій упренный воздухъ оживилъ меня. Я поднялъ голову. Небо синѣло, и жаркіе лучи солнца, пересѣкаемые длинными шрубамы, начерпывали большіе углы свѣша на вершинѣ высокыхъ и мрачныхъ стѣнъ шюрмы. Въ самомъ дѣлѣ было прекрасное время.

Вошъ мы на круглой лѣспницѣ, прошли корридоръ, потомъ другій, послѣ третій, по-

потом опворилась низкая дверь. Жаркій воздухъ, смѣшенный съ шумомъ, хлынулъ мнѣ въ лице. То было дыханіе народа въ судейской залѣ. Я вошелъ.

При появленіи моемъ, загремѣли оружія и голоса; скамьи зашумѣли; перегородки зашрещали; и когда я проходилъ по длинной залѣ между двумя кучами народа, кои обставлены были солдатами, мнѣ казалось, что я былъ средоточіемъ, куда прикрѣплялись ниши, приводившія въ движеніе сіи наклоненныя и ушавившіяся на меня лица.

Въ сію минушу я увидѣлъ, что на мнѣ не было цѣпей, но не помню, гдѣ и когда ихъ сняли.

Всё утихло. Я дошелъ до своего мѣста. Едва умолкло смущеніе въ собраніи, какъ и мысли мои пришли въ порядокъ. Я понялъ вдругъ ясно то, объ чемъ до сихъ поръ какъ бы только мечпалъ, увѣрился, что рѣшительная минуша наступила, и что я призванъ выслушать свой приговоръ.

Тогда мысль сія не успрашила меня. Изъясній эпо, что можеть. Окна были открыты; воздухъ и шумъ городскій проходили въ оныя свободно снаружи; зала была освѣщена, какъ для бракосочетанія; веселые солнечные лучи начерпывали шамъ и сямъ свѣтлый образъ оконъ, шо выпягивая оный на полу,

то развивая на споллахъ, то преломляя на углу спѣнь, и опъ сихъ косоугольниковъ, блиспавшихъ на окнахъ, каждый лучъ опсъ-каль въ воздухъ большую призму золопой пыли.

Судьи сидѣли въ глубинѣ залы, съ видомъ довольнымъ, вѣрояшно опъ радости, что скоро кончили дѣло. Лице Президента, шихо оевѣщенное опблескомъ спекла, имѣло въ себѣ нѣчто спокойное и доброе; а молодой Ассессоръ разговаривалъ почти весело, играя своими манжетами, съ одною молодой дамою, кошорая была въ розовой шляпкѣ и, по праву знакомства, получила мѣсто позади его.

Одни присяжные казались блѣдными и унылыми, вѣрояшно опъ усталости; ибо они не спали цѣлую ночь. Нѣкоторыя зѣвали; видъ ихъ нисколько не показывалъ людей, произнесшихъ только предъ симъ смертный приговоръ, а въ наружности просшаго народа можно было угадать одно желаніе сна.

Противъ меня, одно окно было всё опворено. Я слышалъ, какъ на набережной смѣялись шорговки цѣшами; а на краю окна маленькое красивое распеніе желнаго цѣша, помимое солнечнымъ лучемъ, играло съ вѣперкомъ въ разщелинѣ камня.

При столь припныхъ ощущеніяхъ, какъ могла родиться какая нибудь грустная мысль. Плавая въ воздухъ и солнць, о чемъ могъ я думать, какъ не о свободѣ? Надежда просіяла во мнѣ, какъ день около меня, и съ довѣренностью ожидалъ я своего приговора, какъ ждушь свободы и жизни.

Между тѣмъ явился мой Адвокатъ. Его ожидали. Онъ позавтракалъ за хорошимъ столомъ и съ охотой. Пробравшись къ своему мѣсту, наклонился онъ ко мнѣ съ улыбкою. Я надѣюсь, сказалъ онъ мнѣ. Въ самомъ дѣлѣ? ошвѣчалъ я безопасно и также съ улыбкою. — Да, возразилъ онъ, мнѣ еще неизвѣстенъ ихъ приговоръ, но они безъ сомнѣнія не нашли просхупокъ вашъ умышленнымъ, а въ такомъ случаѣ наказаніе ограничилось ссылкой по смерти на галеры. Чшо говорите вы, сударь? вскричалъ я съ негодованіемъ, лучше спо разъ умереть!

Да, умереть! И припомъ, швердилъ мнѣ какій-шо внушпенный голосъ: почему не скажашъ шебѣ эшаго? Развѣ не всегда приговаривали къ смерти въ полночь, при свѣщильникахъ, въ сумрачной, шраурной залѣ, зимой, въ дождливую погоду? Но въ Августѣ, въ восемь часовъ утра, въ такое прекрасное время, при такихъ добрыхъ присяжныхъ, эшо не возможно! и глаза мои

опять устремлялись на красивый желтый цвѣпокъ, озаренный солнцемъ.

Вдругъ Президентъ, ожидавшій только Адвоката, далъ мнѣ знакъ встать. Солдаты сдѣлали къ ружью; всё собраніе, какъ бы пораженное электрическимъ ударомъ, въ минуту встало. Незначительное и ничтожное лице, помѣщенное за столомъ внизу судилища, кажешься, писмоводитель, вышло на позорище и прочитало приговоръ, сдѣланный присяжными безъ меня. Холодный потъ выступилъ изъ всѣхъ моихъ членовъ; я прислонился къ спинѣ, чтобы не унасть.

— Адвокатъ, не имѣете ли какого либо возраженія противъ присужденнаго наказанія? спросилъ Президентъ.

Я могъ бы сказать всё; но не въ силахъ былъ произнести ничего. Языкъ мой прильнулъ къ горшани?

Защитникъ всталъ.

Я понялъ, что онъ хотѣлъ смягчить приговоръ присяжныхъ; и присужденную ими казнь замѣнить другимъ наказаніемъ, шѣмъ самымъ, о которомъ однимъ намекомъ привелъ онъ меня въ такое негодованіе.

Гнѣвъ мой былъ конечно слишкомъ силенъ; ибо устранилъ тысячу волненій, оспоривавшихъ мои мысли. Я хотѣлъ громко повторить сказанное ему: *лучше сто разъ*

умереть! Но дыханіе мое прервалось, и я могъ только ошановишь своего Адвоката, ухвативъ его грубо за руку, и вскричавъ съ судорожнымъ порывомъ: Ныпъ!

Генераль-Прокуроръ оспоривалъ Адвоката, и я слушалъ его возраженія съ безумнымъ удовольствіемъ. Попомъ судьи вышли, послѣ возвратились, и Президентъ прочелъ мнѣ мой приговоръ.

— Приговоренъ къ смерти! отдавалось въ собраніи, меня повели, а народъ ринулся вслѣдъ за мною съ прескомъ разрушающагося зданія. Я шелъ въ безпамятствѣ и оцѣпенѣніи. Во мнѣ сдѣлался переворотъ. До смершнаго приговора, я чувствовалъ, что сердце во мнѣ билось, что я дышалъ, жилъ вмѣстѣ съ другими людьми, теперь я увидѣлъ ясно преграду между свѣтомъ и мною. Всѣ казалось мнѣ въ другомъ видѣ. Широкія лучезарныя окна, прекрасное солнце, милый цвѣшокъ, всё это блѣдлось и блѣднѣло, было цвѣта савана. Мущины, женщины, дѣти, толпившіеся на моемъ пуши, казались мнѣ мертвецами.

У лѣспницы ожидала меня черная и измаранная карета съ рѣшетчатыми окнами. При самомъ входѣ въ оную, я случайно взглянулъ на площадь. Приговоренный къ смерти! кричали прохожіе, подбѣгая къ каретѣ. Сквозь

облако, кошорое, казалось, оплывило меня
опь вселенной, я различил двух молодых
двушек, следовавших за мною жадными
взорами. Хорошо, сказала младшая, хлопая
руками, через шесть недель!

III.

Приговорень къ смерти! Такъ чтожь? Весьма естественно. *Люди всть обречены смерти; но она имъ отсрогена на неопредѣленное время.* Вотъ что, помнишся мнѣ, читалъ я, не знаю, въ какой книгѣ, въ которой только эпо и было хорошаго. Въ чемъ же сполько перемѣнилось мое соспояніе?

Съ того часа, какъ прочиталъ мнѣ мой приговоръ, сколько умерло такихъ, которые приговорялись къ долгой жизни, сколько опередило меня изъ тѣхъ, которые, въ цвѣтъ молодости и здоровья, наслаждаясь свободой, весьма надѣялись иди смотрѣть паденіе головы моей на Гревской площади, сколько можеть бытъ естъ и шелерь людей, кои прогуливаются и дышатъ на волю, входящъ и выходящъ по своему произволу, и которые также прежде меня ошудуть!

Да и ошъ чего дорожишь мнѣ жизнию? Сумракъ и черный шюремный хлѣбъ, ложка дурнаго бульёна изъ кошла колодниковъ, грубое содержаніе для взрослоаго въ нѣтъ, оскорбленія ошъ шюремщиковъ и колодничьихъ смотришелей, немѣніе человѣка, кошорый удостоилъ бы сказащъ или выслушащъ хошя одно слово, безпреспанная бо-

язнь и того, что самъ дѣлаешь, и того, что съ тобою сдѣлають: вошь почти единственныйъ блага, которыхъ палачь можетъ у меня похитить.

Ахъ! пусть такъ; но это ужасно!

Въ черной карешѣ привезли меня сюда, въ сей презрѣнный Бисепгрь.

Смотря на зданіе издали, видишь въ немъ величіе. Оно развертывается на горизонтѣ; на вершинѣ холма; въ нѣкошоромъ распоянїи находишь въ немъ ошашки дрянного его величія; видѣ Королевскаго дворца; но приближаешься къ симъ чершогамъ, и они спановяпся развалинами. Обвалившіяся стѣны прошивны для глазъ. Наружность сихъ палатъ осквернена какимъ-то позоромъ и скудоспїю; стѣны какъ бы заражены проказой. Ни спеколь, ни рамя въ окнахъ; въ нихъ однѣ перевишья шолспыя желѣзныя рѣшешки, къ кошорымъ пригвождено шамъ и сямъ какое нибудь безобразное лице колодника или сумасшедшаго.

Таковъ видѣ вблизи.

Едва я прибылъ, меня взяли въ желѣзные руки. Предосторожности умножились: ни ножа, ни вилки не давали ко мнѣ на споль: на плечи надѣли мнѣ колодничью фуфайку, родъ парусиннаго мѣшка; жизнь моя была на опчетѣ. Я подалъ жалобу на приговоръ. Трудное дѣло сіе могло продолжиться шесть или семь недѣль, а меня должно было представить въ цѣлоспи на Гревскую площадь.

Въ первые дни обходились со мною ласково, что было для меня ужасно. Привѣтливостъ шюремщика опзывается плахой. — Къ счастью, въ нѣсколько дней, привычка взяла верхъ; со мною спали послушашъ также грубо, какъ и съ прочими арестантами, и не оказывали мнѣ уже шѣхъ необычайныхъ знаковъ вѣжливости, опъ кошорыхъ былъ въ глазахъ моихъ безпрестанно палачъ. Не въ эшомъ одномъ улучшилось. Моя молодостъ, моя понашливостъ, спаранія шюремнаго Священника и въ особенности нѣсколько Лапинскихъ словъ, сказанныхъ мною сторожу, кошорый ихъ не понялъ, исходатайшвовали мнѣ позволеніе прогуливашъся разъ въ недѣлю съ прочими заключенными, и высвободили изъ фуфайки, сдавившей ме-

ня. Послѣ многихъ опказовъ, дали мнѣ: чернилъ, бумаги, перьевъ и ночникъ.

Каждое воскресенье, послѣ обѣдни, спускаюшъ меня на шюремную площадку, въ часъ опдыха; шамъ разговариваю я съ заключенными; это не лишнее. Бѣдняки сіи люди простые: они рассказываюшъ мнѣ свои бездѣльничества; слушаю ихъ, ужасаешся; но я знаю, что они прихвастываюшъ. Они учаюшъ меня говорить ихъ нарѣчіемъ. Сіе варварское нарѣчіе привилось къ общему языку, въ родѣ безобразнаго нароста или желъзь. Въ ономъ иногда особенная сила, живописно спрашное: *жениться на вдовѣ*: (бышь повѣшену), какъ будто веревка на висѣлицѣ вдова всѣхъ повѣшенныхъ. Голову зора называюшъ двумя именами: *Сорбонною*, когда она замышляешъ, обдумываешъ преступленіе, и возбуждаешъ къ злодѣйству; *гурбаномъ*, когда палачъ опсѣкаетъ ее. Иногда игривоспъ: *леуцъ* (языкъ); однимъ словомъ вездѣ, поминушно, слова чудовищныя, таинственныя, прошивныя и гнусныя, взяшыя незвѣшно опкуда. Кажешся, слышишь разговоръ жабъ и пауковъ. Языкъ сей производипъ на чувспва такое же впечатлѣніе, какъ грязь и пыль, какъ разспряхиванье лохмошья.

Эши люди одни жалѣюшъ обо мнѣ. Тю-

ремные еспражи, приврапники, ключники
(Богъ съ ними!), полкуюшь, смѣются и,
при мнѣ, говоряшь обо мнѣ, какъ о вещи.

Я сказалаь самъ себѣ :

— Зачѣмъ не пишу я, имѣя къ тому способъ? какъ, пишашь? Заключенный въ чепырехъ спѣнахъ изъ хладнаго камня, безъ горизонтла для очей, заняпый цѣлый день однимъ наблюденіемъ медленнаго движенія бѣловапаго чепыреугольника, опсѣкаемаго находящимея въ дверяхъ моихъ слуховымъ окномъ на противудежащей мрачной спѣнѣ; и, какъ передъ симъ я сказалаь, одинъ на одинъ съ мыслию, мыслию пресупленія и казни, убійства и смерти, объ чемъ могу я говоришь? Въ эшомъ свѣтѣ мнѣ уже нечего болѣе дѣлать! Есть ли въ омраченной и пустой головѣ сей что либо достойное описанія?

Почему и не бышь? Пусть всё, окружающее меня, однообразно и сумрачно; но во мнѣ гроза, борьба, мука. Развѣ поспоянная мысль, господствующая надо мною, не предсавляется мнѣ каждый часъ, каждую минушу, въ новомъ видѣ, который становится пѣмъ отвращительнѣе и окровавленнѣе, чѣмъ ближе назначенный срокъ? зачѣмъ не повиннаюсь я рассказать самому себѣ всѣ порывистыя и безвѣспныя ощущенія, обуреваюція меня въ шепереннемъ оп-

чаянномъ моемъ положеніи? по истинѣ предметъ богатый, и какъ ни мало оспасенъ мнѣ жить; но при всемъ томъ, отъ сего часа до послѣдняго найдется еще, что описывать: будущъ и спраданія, и ужась, и испязанія. Сверхъ того, наблюдая сіи муки, будешь менѣ чувствовашь ихъ, а изображая, разсѣешься.

И можешь быть еще описаніе мое не будешь бесполезно. Въ семь разсказъ изобразись въ подробности каждое мгновение, и если достанешь у меня силъ довести мои приключенія до шѣхъ поръ, пока сдѣлаешь *Физически* невозможнымъ продолжашь описаніе оныхъ; по сія повѣсть ощущеній моихъ, хошя по необходимости неоконченная, но по возможности полная, не будешь ли заключаешь великое и глубокое поученіе? Не послужашь ли сіи замѣчанія? изнемогающаго ума; сіе непрерывное умноженіе спраданій, сей родъ мысленнаго созерцанія распяющагося съ жизнію уроками для шѣхъ, которые дѣлаюшъ приговоръ? Можешь быть чпеніе сіе остепенить ихъ руки на другій случай, когда должно будешь шакже класпъ мыслящую голову, голову человека, на шакъ называемыя ими вѣсы правосудія? Можешь быть несчастные сіи не размышляли никогда о медленной постепенности мукъ, за-

ключающихся въ смертномъ приговорѣ, въ семь произведеніи одной минушы; оспанавливались ли они хотя однажды на горькойшой мысли, что въ разсѣкаемомъ ими челоуѣкъ есть умъ, умъ, надѣявшійся жизни, душа, не располагавшаяся къ смерти? Нѣтъ. Они видяшь одно прямолинейное паденіе прямоугольнаго ножа, и думаютъ безъ сомнѣнія, что для приговореннаго къ смерти нѣтъ ничего ни предыдущаго, ни послѣдующаго.

Сіи лиспы выведуть ихъ изъ заблужденія, и, бывъ можешь быть обнародованы нѣкогда, оспановятъ на нѣсколько времени ихъ умъ надъ умощвенными спраданіями; ибо умощвенныхъ-шо мукъ люди сіи не предполагають. Они торжествують, что могутъ умершвить, почти не засава спрадашь тѣлесно. А въ эшомъ и дѣло! Что боль физическая въ сравненіи со нравшвенною? Ужасно! Можешь быть записки сіи, послѣдніе хранители шайнъ спрадальца, будутъ бесполезны.

Пусть только по смерти моеѣ не выбросятъ лиспковъ сихъ среди площади въ грязь и на вѣтеръ, или не исплятъ ихъ на дождь, залпивъ ими щещины въ складахъ у тюремщика.

VII.

Пусть по, что я пишу здѣсь, послужишь въ пользу для другихъ, основывая судью, готового производить судъ, избави несчастныхъ, невинныхъ или виновныхъ, отъ испязаній, коимъ я преданъ: зачѣмъ? На какой конецъ? Какое мнѣ до того дѣло? Когда ошѣкушь у меня голову, пусть ошѣкаютъ ее и у другихъ? Ужели въ самомъ дѣлѣ могли войти мнѣ въ умъ такія нелѣпости? Низвергаешь эшафотъ, войдя на оный! Скажите, ради Бога, что я эскимъ выиграю.

Какъ, солнце, весна, поля, усыпанныя цвѣтами, птицы, пробуждающіяся въ часъ утра, облака, дерева, природа, жизнь, свобода, — всё это уже не для меня?

Ахъ! меня, меня надобно спасать. Развѣ точно это невозможно, и должно умереть завтра, можешь быть сего дня? Ужели всё это справедливо? О Боже! Ужасная мысль, отъ коей можно лишиться разсудка!

VIII.

Разсчищаемъ, сколько остаётся мнѣ
жизнь :

Три дня отсрочки послѣ произнесенія
приговора, для подачи жалобы въ Кассаци-
онный Судъ.

Восемь дней дѣло остаётся въ Судѣ безъ
движенія, послѣ чего, какъ говоряшь, *бу-*
маги отсылаюшся къ Министру.

Двѣ недѣли остаюшся онѣ у Министра,
который, по разсмотрѣннн дѣла, передаетъ
оное въ Кассационный Судъ.

Помомъ разборъ, перемѣчиванье, вне-
сеніе въ реэспрь; вѣдь гильёпина завалена,
и каждому своя очередь.

Двѣ недѣли разсмашриваешся, законно
ли ведено дѣло,

Наконецъ Судъ собирается, обыкновенно
въ чепвергъ, признаешъ жалобы незаслу-
живающими уваженія, и отсылаешъ всё къ
Министру, который отсправляешъ бумаги
къ Генераль-Прокурору, а сей къ падачу.
Три дня.

На чепвертый день, упромъ, Помощ-
никъ Генераль-Прокурора, надѣвая галстукъ,
говоришь самъ себѣ: надо же кончить это
дѣло; тогда если у Письмоводительскаго
Помощника нѣшь госпей, собравшихся на

завтракъ: по приказъ о совершеніи казни сочиняюшъ и разсматриваюшъ, переписываютъ на бѣло, опсылаюшъ, и наупро съ разсвѣтомъ раздаешя уже на Гревской площади спукъ сколачиваемыхъ досокъ, и по перекресткамъ изо всей силы воюшъ охрипые глашатаи.

Всего шесть недѣль. Дѣвушка говорила правду.

Ишакъ вошь уже не менѣ пяши, можешъ бышь, шести недѣль (не смѣю считаешь), какъ я въ семь душномъ Бисепрѣ, а мнѣ кажешя, я здѣсь шолько шри дня, съ чешверга.

IX.

Я написал свою духовную.

На что? Меня судили на мой счетъ, и всего моего имѣнья едва доспанеть на сіи издержки. Гильёпина весьма дорога.

Послѣ меня остаеяся мать, остаеяся жена, остаеяся дѣтя.

Дѣвочка прехъ лѣтъ, пихая, румяная, нѣжная, съ большими черными глазами и длинными кашпановыми кудрями.

Ей было два года и одинъ мѣсяць, когда я видѣлъ ее въ послѣдній разъ.

Итакъ, послѣ смерти моей, при женщины, безъ сына, безъ мужа, безъ опца. Три сироты разнаго рода, при вдовѣ.

Пусть я наказанъ справедливо. Что сдѣлали этъ невинныя? Не смотря на то, ихъ безчестяшъ, раззоряюшъ: вопъ правосудіе.

Я не забочусь о пресшарѣлой матери своей; ей шестидесять чешыре года, она умреть опъ эшаго удара; а если и проходитъ еще нѣсколко дней — будь шолько для ней до послѣдней ея минушы горсть шеплой золы, она не скажеть ни слова.

О женѣ я также не шоскую, и шѣло и умъ ея безъ шого уже слабы. Она также умреть.

Развѣ только лишится она разсудка? Говорясь, сумашествіе продолжаетъ жизнь; но по крайней мѣрѣ умственныя силы ея не будутъ спряться, она будетъ спать, она какъ будто умретъ.

Но дочь моя, дитя мое, бѣдная малюшка Маша, она смѣется, играетъ, поетъ въ это время, и ни о чемъ не думаетъ, обыкновенно-то мнѣ грустно.

X.

Вошь что моя шюрма;

Восемь четверугольных фушовъ. Чепыре спѣсны изъ песаннаго камня опирающся правымъ угломъ на мостовую изъ плить, подышаю на ступень выше наружнаго корридора.

Вправо отъ двери, при входѣ, родъ углубленія, каррикашура алькова. Туда бросають пукъ соломы, на кошорой будшо бы покоишся и спишь закълюченный, въ холспинныхъ шшанахъ и шиковомъ жилешъ, и зимой и лѣшомъ.

Надъ моею головою, вмѣсто неба, черныи сводъ со спрѣлкою (шакъ онъ называешся), съ кошораго висяшь, подобно рубищамъ, гуспыя паушины.

Впрочемъ ни окна, ни опдушины; деревянная дверь, обипая желъзомъ.

Ошибаюсь; посреди двери, къ верху, опверстие величиною въ девяшь четверугольных дюймовъ, пересѣченное крестообразною желъзной рѣшеткою; опверстие эшо шюремный спражъ можешъ запирашь на ночь.

Снаружи довольно длинный корридоръ, освѣщенный, освѣжаемый воздухомъ посредствомъ шѣсныхъ опдушинъ, находящихся на

верху стѣны, раздѣленный на флигели каменной работы, сообщающіеся между собою рядомъ дверей низкихъ и имѣющихъ видъ полуциркуля: каждый изъ сихъ отдѣловъ служишь нѣкошорымъ образомъ прихожею арестантской комнашѣ, похожей на мою. Въ сіи-то арестантскія комнашы сажаютъ колодниковъ, приговоренныхъ шюремнымъ Дирекшоромъ къ исправительнымъ наказаніямъ. Первые три чулана опредѣлены для осужденныхъ на смерть, потому что, будучи ближе къ ворошамъ, они удобнѣе для темничнаго спраша.

Сии арестантскія составляютъ всё, остающееся отъ древняго Бисепрекаго замка, съ того времени какъ онъ выспроенъ былъ въ пятнадцатомъ столѣтїи Винчесперскимъ Кардиналомъ, шѣмъ самымъ, который сжегъ Иоанну д'Аркъ. Я слышала, какъ рассказывали объ этомъ любопытные, приходившіе посмотрѣшь на меня, когда я сидѣла въ моей норѣ, и разглядывавшіе меня издали, какъ звѣря въ клѣшкѣ.

Я позабыла сказать, что денно и ночно спѣишь у дверей моихъ часовый, и что глаза мои, обращаясь къ четвероугольному слуховому окну, всякій разъ встрѣчаются

съ двумя неподвижными и всегда открытыми глазами сего спража.

Впрочемъ полагаюшъ, что въ семъ каменномъ логовищѣ естѣ воздухъ и свѣтъ.

XI.

Еще не разсвѣло. Какъ убишь ночь? — Мнѣ пришла мысль. Я всталъ и началъ водить лампу по чешыремъ стѣнамъ моего покоя. Онѣ исписаны, изрисованы, изнещрены странными изображеніями, именами, перемѣшенными между собою, и изглаживающими одно другое. Кажется, каждый приговоренный къ смерти хотѣлъ оставить послѣ себя слѣдъ, по крайней мѣрѣ здѣсь. Тушь карандашъ, мѣлъ, уголь, буквы: черныя, бѣлыя, сѣрыя, во многихъ мѣстахъ углубленія въ камень, шамъ и сямъ знаки ржавые, какъ будто написанные кровью. Конечно, при свободномъ духѣ, я занялся бы съ любопытствомъ сею странной книгою, развертывающею предо мной страницу за страницею на каждой плитѣ сего логовища. Я поспарался бы передѣлать въ одно цѣлое сіи опрыски ума, разсѣянные на камень, разгадать каждаго по его имени, придашь смыслъ и жизнь симъ изувѣченнымъ надписямъ, обезчлененнымъ выраженіямъ, искаженнымъ словамъ, шламъ обезглавленнымъ, какъ и шѣ, копорые писали всё это. Вронецъ съ моимъ изголовьемъ, два горяція сердца, пронзенныя стрѣлою, а надъ ними: *Любовь до гроба*. Бѣднякъ входилъ въ обязашельство не надолго.

Подъ родъ преугольной шляпы; подъ ней маленькое изображеніе, грубо нарисованное, и слова: *Да здравствуетъ Императоръ!* 1824.

Еще два пылающія сердца съ сею надписью, рѣдкою въ темницѣ: *Люблю и обожаю Матвѣя Давина.* Яковъ.

На противулежащей стѣнѣ имя *Папавуанъ.* Заглавная буква П испещрена Арабесками; и щастельно изукрашена.

Куплетъ изъ неблагоприспойной пѣсни.

Республиканскій колпакъ, высѣченный довольно глубоко въ камень, внизу написано: *Борій. — Республика.* — Это имя одного изъ чепырехъ Ларошельскихъ юнкеровъ. Въ дный юноша! Какъ презрительны ихъ мнимыя политическія крайности! За мысль, за мечту, за отвлеченность ужасная существенность, называемая гильёшиною! А я недоспойный, я испинный преступникъ, пролившій кровь, я смѣль роппалть!

Прекращу свое изслѣдованіе. Я увидѣлъ начертанное въ углу стѣны чѣмъ-то бѣлымъ ужасное изображеніе, видъ эшафота, который въ сіе время воздымаешся можетъ бышь для меня! — Лампада едва не выпала изъ рукъ моихъ.

XII.

Стремглавъ опскочилъ я опъ спѣны; и сълъ опать на солону, поникнувь головой въ колѣна; ео дѣшскій спрахъ мой вскорѣ разсѣялся, и прежнее спранное любопышество снова овладѣло мною, — я спаль продолжалъ чпеніе своей спѣны.

Подлѣ имени Папавуана оторвалъ я огромную паушину, наполненную пылью и прощаную въ углу спѣны. Подъ сею паушиною можно было прочищать безъ малѣйшаго труда чепыре или пяпъ именъ въ числѣ другихъ, опъ которыхъ осшається на спѣнѣ одно пяпно. — *Дотюнъ*, 1815. — *Пулень*, 1818. — *Жакъ Мартень*, 1821. — *Кастень*, 1823. — Я прочищаль имена сіи, и горестныя воспоминанія обьяли мою душу. Дотюнъ рачепвериль своего брата, и ночью бросиль голову въ ручей, а шуловище въ спочную яму; Пулень умертвилъ свою жену; Жакъ Маршень выспрѣалъ изъ писполета въ прешарѣлаго своего опца, тогда какъ сей послѣдній оппираль окно; Кастень лѣкаръ оправиль своего друга, и, пользуя его опъ сей болѣзни, которую самъ нанесъ, давалъ ему снова вмѣсто лѣкарства ядъ; рядомъ съ ними Папавуанъ, спрашилище и сумасшедшій, который убиваль дѣшей, разсѣкая имъ головы ножемъ.

Вошь, сказала я сама себя, и лихорадочная дрожь всхувила въ мою внутренность, вошь кто жилъ до меня въ сей горницѣ. — Здѣсь-то, на томъ же камнѣ, на коемъ шеперь и я, родились послѣднія мысли сихъ изверговъ, привыкшихъ къ убійствамъ и крови! Около сей самой стѣны, въ семь пѣсномъ чешыреугольникѣ кружились они въ послѣдній разъ, подобно дикому звѣрю. — Они смѣняли другъ друга скоро; кажется, заключенныхъ здѣсь не убавляется. Много перебивало ихъ въ сей пюрью, и наконецъ мнѣ суждено зажать ихъ мѣсно. Въ свою очередь соединюсь съ ними и я на Клармарскомъ кладбищѣ, гдѣ шакъ хорошо расшесть права!

Я не мечшатель и не суевѣръ. Върояшно отъ сихъ-то мыслей била меня дрожь; я предавался грезамъ, и вдругъ показалось мнѣ, что роковыя имена сіи начертаны были на черной стѣнѣ огненными письменами; въ ухахъ моихъ раздавался звонъ, съ каждой минушою ускорявшійся; передъ очами моими разливался кровавый свѣщъ; мнѣ казалось, что вокругъ меня толпились люди спранный наружности, каждый изъ нихъ держалъ голову свою безволосую у себя въ лѣвой рукѣ, ухвативъ ее за усна. Они грозили мнѣ всѣ, кромѣ опцеубійцы.

Я закрылъ глаза съ ужасомъ; но вдругъ увидѣлъ всё еще яснѣе.

Было ли всё сіе греза или видѣніе или существенность; но я лишился бы разсудка, если бы вдругъ не былъ разбуженъ благо- временно. Я готовъ былъ упасъ навзничь, какъ почувствовалъ, что по голой ногѣ моей шянулось что-то холодное съ мохна- тыми лапами; что же было это? бѣжалъ сроненный мною паукъ.

Я пришелъ въ себя. О ужасныя при- видѣнія! Нѣшь, я мечшалъ, пусая голова моя была въ чаду, въ судорожныхъ припад- кахъ. Макбетовская греза! Мершвецы, осо- бенно шакіе, не возстанушь. Въ гробъ они подъ крѣпкими заклепами. Опъ чего же я шакъ испугался?

Могильная дверь изнутри не опширается.

XIII.

Въ прошлые дни видѣлъ я отвращительное зрѣлище.

Еще едва разсвѣтало, а въ шюрмѣ былъ уже вездѣ шумъ. Тяжелыя двери запирались и отворялись, желѣзные запоры и замки скрипѣли, связки ключей, ударяемыхъ одинъ о другій на поясѣ у шемничныхъ спражей, спучали, лѣстницы съ верху до низу дрожали подъ скорыми шагами, и голоса перекликались съ обоихъ концовъ длинныхъ корридоровъ. Тюремные сосѣды мои колодники, осужденные на галеры, были веселѣе противъ обыкновеннаго. Казалось, весь Бисептръ: смѣялся, пѣлъ, бѣгалъ, плясалъ.

Я одинъ, наблюдая молчаніе посреди сего крика, не двигаясь съ мѣста въ семь смятени, удивляясь и напрягая вниманіе, слушалъ.

Пришелъ шюремщикъ.

Я отважился окликать его и спросить, не было ли въ шюрмѣ какаго праздника. Пожалуй, щипайте и праздникомъ! отвѣчала онъ мнѣ. Сегодня заковываютъ колодниковъ, которыхъ должно отправлять завтра въ Тулонъ. Не хотите ли посмотрѣть? Вы позабавитесь.

Зрѣлище сіе, при всей своей гнусности,

для пуспыннаго зашворника было въ самомъ дѣлѣ находкою. Я принялъ приглашеніе.

Спражь мой взялъ нужныя предосторожности, что бы я не могъ уйти, попомъ привелъ меня въ маленькій пуспый чуланъ, гдѣ не было никакой мебели, я увидѣлъ шолько обыкновенное рѣшетчатое окно, которое было таковой величины, что въ него можно было смотрѣвъ облокопясь, и видѣвъ настоящее небо.

— Вошь, сказалъ онъ мнѣ, отсюда вамъ всё будешь видно и слышно. Вы будете въ своей ложѣ одни.

Съ сими словами онъ вышелъ и заперъ за собою замки, задвижки, и заложилъ запоры.

Окно выходило на довольно широкій четырёхугольный дворъ, вокругъ котораго поднималось по четыремъ сторонамъ, какъ стѣна, большее зданіе изъ песаннаго камня въ шесть этажей.. Ничто не можетъ быть ошвращительнѣе, обнаженнѣе, позорнѣе для глазъ, какъ четырёхсторонній окладъ сего дома, прорѣзанный множествомъ рѣшетчатыхъ оконъ, усшавленныхъ съ низу до верху щощими и блѣдными лицами, которыя шѣснились одно надъ другимъ, какъ камни въ стѣнѣ, и всѣ, такъ сказать, вклеены были въ промежутки между жельзными прутьями.

То были заключенные, смотрѣвшіе на представленіе въ ожиданіи своей очереди бышь дѣйствующими лицами. Они казались душами, мучающимися въ опдушинахъ чиспилица, выходящихъ въ адъ.

Всѣ смотрѣли въ молчаніи на дворъ, гдѣ никого еще не было. Они ждали. Между сими погасшими и мерпвенными лицами блистало кое-гдѣ, подобно огненнымъ шочкамъ, нѣсколько проницащельныхъ и быспрыхъ глазъ.

Чешыреугольникъ шюремнаго зданія проспирается не вокругъ всего двора. Одинъ изъ чешыреухъ угловъ шюрьмы, обращенный къ воспоку, разсѣченъ на срединѣ, и соединяется со смежнымъ угломъ желъзною рѣшешкою. Рѣшешка сія опворяется на другій дворъ, который меньше перваго, и, подобно ему, огражденъ черновашыми зубчатыми спѣнами.

Кругомъ всего главнаго двора споятъ у спѣны каменные скамьи. На срединѣ воздымается нагнушый желъзный шессть, на которомъ вѣщающъ фонарь.

Наспупилъ полдень. Вдругъ разхлопнулась большая калишка, скрышая въ углубленіи. Телега, окруженная нѣкоторыми подобіями солдашь нечиспаго и срамнаго вида, одѣшыхъ въ голубые мундиры съ крас-

нычи эполетами и желтыми перевязями, спянулась медленно на дворъ, со скрипомъ ржаваго желъза. Это были колодники и цѣпи.

Вмигъ какъ будто шумъ сей взволновалъ всю шюрьму; зрители въ окнахъ, наблюдавшіе до тѣхъ поръ молчаніе, и недвигавшіеся съ мѣстъ своихъ, издали крики радости, начали пѣть, посыпали угрозы, заклинанія вмѣстѣ съ пронзительнымъ хохотомъ. Они похожи были на демоновъ. — У каждаго лице скривилось, руки высунулись изъ рѣшешокъ въ угрожающемъ положеніи, голосъ завылъ, глаза засверкали, и я объяшъ былъ страхомъ, увидѣвъ столько искръ въ семь пеплѣ.

Между тѣмъ надзиратели надъ капоржными, въ числѣ коихъ, по опрятному плашью и испуганному виду, не трудно было узнать нѣсколько любопытныхъ, пришедшихъ изъ Парижа, прислупили спокойно къ своему дѣлу. Одинъ изъ нихъ влезъ на шелегу, и побросалъ поварищамъ своимъ цѣпи, дорожные ошейники и кипы холстинныхъ шпановъ. Они раздѣлили между собою работу: одни распинали въ углу двора длинныя цѣпи, которыя называли по своему бичевками; другіе раскладывали по мосиновой *ткани*, рубахи и шпаны; между тѣмъ какъ тѣ, которые были поумнѣе, осматривали, подк

руководствомъ Главнаго Смощрителя, ма-
ленькаго здороваго шарика, желъзные ошей-
ники, каждый особю, а потомъ пробовали
ихъ, ударяя ими по мостовой. Всѣ это
происходило при громкихъ насмѣшкахъ за-
ключенныхъ, мелькавшихъ въ опдаленіи въ
окнахъ старой шюрмы, обращенныхъ на
малый дворъ; но голоса сіи заглушаемы бы-
ли шумнымъ хохотомъ галерныхъ невольни-
ковъ, для конхъ дѣлались приготоовленія.

Когда все было готово, одинъ чино-
вникъ съ серебрянымъ шипьемъ, котораго
называли *Господиномъ Инспекторомъ*, далъ
приказъ *Директору* шюрмы; вслѣдъ за
шѣмъ изъ двухъ или трехъ низкихъ дверей
хлынуло на дворъ съ воемъ, почти въ одно
время и какъ бы шучами, множество лю-
дей отвращительнаго вида и въ рубищахъ.
Люди сіи были галерные невольники.

При входѣ ихъ радость въ окнахъ усугубилась. Нѣкоторые изъ нихъ, наиболѣе
прославившіеся въ острогѣ, привѣспивуемы
были радостными кликами и рукоплесканія-
ми, и принимали оныя съ какимъ-то гор-
дымъ смиренномудріемъ. На многихъ были
шляпы, сплетенныя собственными ихъ ру-
ками изъ шюремной соломы, всѣ страннаго
вида; они надѣвали ихъ съ тою цѣлью, чтобы
въ городахъ, чрезъ которые лежалъ имъ

пусть, шляпа заешавляла обращашь вниманіе на голову. Такимъ колодникамъ еще болѣе рукоплескали. Въ особенноти одинъ произвелъ всеобщій восторгъ.: молодой человекъ лѣтъ семнадцати, съ лица какъ дѣвушка. Онъ вышелъ изъ шюрмы, въ которой содержался впайнѣ восемь дней, изъ своей связки соломы сдѣлалъ онъ себѣ плащъ, покрывавшее его съ ногъ до головы, и появился на дворъ, кружась около себя съ проворствомъ змѣи. Забавникъ сей осужденъ былъ за воровство. Рукоплесканія и крики радости выходили изъ границъ. Колодники опивѣчали шѣмъ же, и сердце раздиралось при видѣ такой взаимной радости между настоящими и будущими галерными невольниками. Не смотря на присутствіе шюремщиковъ и усмращенныхъ жипелей, завлеченныхъ любопытствомъ, пресупленіе, презирая ихъ явно, дѣлало изъ сего ужаснаго наказанія семейный праздникъ.

Только что входилъ колодникъ, его полкали, между двумя рядами галерной стражи, на малый дворъ, окруженный рѣшетками, на кошоромъ готовился лѣкарскій осмотръ. Здѣсь-то каждый испытывалъ последнее средство, чтобы избавишься отъ дороги, и ввводилъ на себя какій нибудь недугъ: или болѣли глаза, или хромала нога,

или переломлена была рука; но, по освидѣтельствованіи, почти всегда оказывались все годными для галеръ: и тогда каждый безопасно предавался своему жребію, забывая въ нѣсколько минушь долготѣшнюю мнимую свою бользнь.

Рѣшешка вокругъ малаго двора опять отворилась. Одинъ изъ надзирателей сдѣлалъ перекличку по азбучному порядку, и вошь вышли колодники одинъ по одному, и каждый изъ нихъ спанился въ углу большаго двора подлѣ товарища, доставшагося по заглавной буквѣ. Здѣсь колоднику не на кого уже надѣяться, онъ влачитъ цѣпь за себя, рядомъ съ незнакомцемъ, и хотя бы случился у него другъ, онъ отдѣленъ отъ него цѣпью. Несчастіе изъ несчастій!

Когда вышло человекъ до шридцати, рѣшешку опять заперли. Одинъ изъ галерныхъ начальниковъ уравниалъ ихъ своей палкою, бросилъ передъ каждымъ изъ нихъ по рубашкѣ, жилету и толстымъ холстиннымъ шпанамъ, подалъ знакъ, и все начали раздѣваться. Неожиданный случай, какъ будто нарочно, перемѣнилъ униженіе сіе въ муку.

До сихъ поръ погода была довольно хороша, и хотя отъ Октябрскаго сѣвернаго вѣтра воздухъ былъ холодень, однако по временамъ проглядывалъ кое-гдѣ сквозь сѣ-

рые густые шуманы солнечный лучь; но едва скинули колодники свои шюремный рубища, и предстали нагѣ подробному освидѣтельствуванію галерныхъ смотрителей, и любопытнымъ взорамъ приходящихъ, которые кружились около нихъ, осматривая ихъ плеча, небо помрачилось и вдругъ холодный осенній дождь полился ручьями въ четверугольный дворъ, на непокрытыя головы, обнаженные члены капоржныхъ, на ихъ негодные плащи, раскинутые на мостовой.

Въ минушу на площади не осталось ничего, кромѣ колодниковъ и ихъ спражи. Парижскіе шашуны скрылись у входовъ подъ навѣсы.

Между тѣмъ дождь лился рѣкою. На дворъ оставались уже одни голые колодники, съ которыхъ лились ручьи на наводненную мостовую. За шумными угрозами послѣдовало мертвое молчаніе. Несчастные дрожали, спучали зубами; изсохшія ихъ ноги, суковатыя колѣна ударялись другъ объ друга, и жалко было смотрѣть, какъ они натягивали на свои посинѣлые члены мокрыя рубахи, жилеты, шшаны, съ которыхъ струился дождь. Нагота была бы лучше.

Только одинъ старикъ оставался веселымъ. Упираясь мокрою своею рубашкою,

онъ вскричалъ: *этого не было въ рѣсписа-
нiи*, пошомъ началъ смѣяться.

Когда надѣли они дорожныя плашья, ихъ повели по двадцати или тридцати чело-
вѣкъ на другій уголъ площади, гдѣ приго-
шловлены были для нихъ растянутыя по зем-
лѣ веревки. Сiи веревки были длинныя и
крѣпкія цѣпи, пересѣкаемыя чрезъ каждыя
два фута другими цѣпями не столь длин-
ными, у коихъ на концѣ прикрѣпляется че-
тверугольный желѣзный ошейникъ; опши-
рается ошейникъ сей чрезъ скважину, про-
сверленную въ одномъ углу, а затворяется
на противоположащей сторонѣ посредствомъ
болта, заковываемого на шеѣ капоржнаго
до прибытія къ мѣсту назначенія. Такія ве-
ревки, будучи разложены по землѣ, весьма
походятъ на главную рыбу косшь.

Капоржныхъ посадили на мостовой въ
грязи, водѣ, имъ спали примѣривашь на-
шейныя цѣпи: пошомъ два галерные кузне-
ца, вооруженные дорожными наковальнями,
заковали имъ на шеѣ сильными ударами мо-
лошовъ холодное желѣзо. Вотъ минута
ужасная и для самыхъ отважныхъ. При каж-
домъ ударѣ по наковальнѣ, приложенной къ
ихъ спинѣ, отскакиваешь подбородокъ не-
счастливаго, онъ малѣйшаго движенія назадъ

оплетъль бы черепъ, какъ шелуха съ орѣха.

Послѣ сего дѣйствія, веселость ихъ пропала. Уже раздавался одинъ спукъ цѣпей, и изрѣдка свистъ и глухій шумъ опъ палки, кошорою галерные смопришели угощали упрямыхъ. Нѣкошорые изъ колодниковъ плакали, спарики дрожали и прикусывали у себя губы. Съ ужасомъ смопрѣль и на всѣ сїи мрачныя лица, вшавленныя въ желѣзныя рамы.

Такимъ образомъ, послѣ докшорскаго осмошра, свидѣшельспвуютъ галерные начальники; послѣ освидѣшельспвованія галерными начальниками заковыванье. Въ семь предшавленіи при дѣйствія.

Солнце проглянуло снова. Оно какъ будто зажгло головы у всѣхъ галерныхъ невольниковъ. Они вскочили вдругъ какъ бы опъ судорожнаго удара, всѣ пяшь веревокъ напушали себя на руки, и внезапно окружили, въ видѣ безконечнаго кольца, шессть, на кошоромъ висѣль фонарь. При видѣ круженія ихъ, зрѣніе упомлялось. Они пѣли и галерныя цѣсни и романсы своего покроя шо жалкимъ, шо буйнымъ и веселымъ напѣвомъ, иногда пронзительные голоса, прерывистый и удушливый хохопъ смѣшивались съ таинешвенными словами; вдругъ раздавались неистовые клики, и цѣпи, ударяясь одна объ другую,

блуждали оркестромъ для сего пѣнія, которое было бездушнѣе ихъ шума. Это была настоящій жидовскій шабашъ.

На площадь принесли широкій кошёлъ. Галерные смотрѣли прервали пляску палочными ударами, и повели колодниковъ къ этому кошу, въ кошоромъ плавали, не знаю, какія sprawy, въ какой-то дымившейся и грязной жидкости. Они спали ѣспъ.

Насышась, они вылили на мостовую недоѣденную смѣсь, побросали оспапокъ чернаго хлѣба, и опяшь спали плясашъ и пѣшь. По видимому, свободу сію даюшь имъ въ день заковыванья, и въ слѣдующую за шѣмъ ночь.

Я смотрѣлъ на сіе зрѣлище съ такимъ ненасышимымъ любопытствомъ, съ такимъ пренепомъ и вниманіемъ, что самъ себя позабылъ. Глубокое чувствованіе жалости попрысало мою внутренность, и хохотъ безумцевъ заспавлялъ меня плакашъ.

Вдругъ, погруженный въ задумчивость, увидѣлъ я, что завывавшій хороводъ оспа новился и замолчалъ. Глаза у всѣхъ обратились къ окошку, у кошораго я былъ. Приговоренный къ смерши! Приговоренный къ смерши! кричали они всѣ, указывая на меня пальцами; и порывы радости удвоились.

Я окаменѣлъ.

Не знаю, гдѣ они видѣли и какъ узнали меня.

— Здорово, здорово! кричали они мнѣ съ своею злобной усмѣшкою. Одинъ изъ самыхъ молодыхъ, осужденный по смерти на галеры, съ лоснящимся и багровымъ лицомъ, поглядѣлъ на меня съ видомъ зависти, приговоря: Онъ счастливъ! *Его подрѣжутъ!* Прощай, товарищъ!

Не могу сказать, что происходило во мнѣ. Я былъ въ самомъ дѣлѣ ихъ товарищъ. Гревская площадь сестра Тулонскимъ галерамъ. Я стоялъ даже ниже ихъ, они дѣлали мнѣ честь. Я запрещаю.

Да, ихъ товарищъ! еще нѣсколько дней, и я могъ въ свою очередь ихъ позабавить.

Я оспавался у окна неподвижнымъ, разслабленнымъ, въ параличѣ; но когда увидѣлъ, что пяшь рядовъ колодниковъ подходили, бросались ко мнѣ съ выраженіями адскаго ихъ дружества, когда услышалъ шумный прескъ ихъ цѣпей, ихъ оглушающіе крики и громовые шаги подъ стѣною; то мнѣ показалось, что подпа эшихъ демоновъ лезла въ мой бѣдный чуланъ; я закричалъ, бросился на дверь съ такою силою, что едва не вышибъ ее; но бѣгство было невозможно. Запоры задвинуты были снаружи. Я стучался, кричалъ съ бѣшенствомъ. Уже

мнѣ чудилось, что страшные голоса галерныхъ невольниковъ приближались, уже, казалось, видѣлъ я безобразныя ихъ головы на краю моего окна, я закричалъ неистово и упалъ въ безпамятствѣ.

XIV.

Я пришелъ въ себя уже ночью. Я лежалъ на дурной кровати, и, при слабомъ свѣтѣ привѣшеннаго къ потолку фонаря, увидѣлъ нѣсколько такихъ же кроватей, размѣщенныхъ прямолинейно по обѣимъ сторонамъ моей. Я понялъ, что меня перенесли въ больницу.

Нѣсколько минутъ я бодрствовалъ, но безъ мыслей и памяти, предавшись весь блаженству, которое вкушалъ, лежа на постелѣ. Конечно, въ другое время, я опскочилъ бы съ отвращеніемъ и жалостью ошъ сей госпитальной и шемничной кровати; но тогда я спалъ уже другимъ. Хотя бѣлье было нечисто и жестко, одѣяло тонко и въ дырахъ, а сквозь шюфякъ можно было чувствовать солому, ничего! члены мои могли разгибаться по волѣ въ сей грубой одеждѣ; какъ ни было тонко сіе одѣяло; но я ощущалъ, что ужасный холодъ, проникавшій меня обыкновенно до сердца, спалъ мало по малу исчезать. Я опять уснулъ.

Сильный шумъ разбудилъ меня; уже разсвѣдало. Шумъ сей происходилъ снаружи, кровать моя была подлѣ окна; я сѣлъ въ постелѣ, любопытствуя узнать причину шума.

Окно выходило на большой Бисетрскій дворъ, копорый былъ наполненъ народомъ; два ряда старыхъ солдатъ съ шрудомъ заграждали, посреди сей толпы, узкую дорожку поперегъ двора. Между симъ двойнымъ рядомъ солдатъ проходили медленно, оспанавливаясь на каждомъ камнѣ, пашь длинныхъ шелегъ, усаженныхъ людьми. Пущешешвенники сіи были галерные невольники, кошорыхъ опправляли.

Телеги были опкрышы. На каждой изъ нихъ находилось по кордону колодниковъ, кошорые сидѣли по краямъ шѣсно одинъ съ другимъ, опдѣляясь другъ опъ друга общею цѣпью, просширавшеюся вдоль шелеги; конецъ сей цѣпи придавленъ былъ ногою одного изъ галерныхъ спорожей, кошорый шюялъ съ заряженнымъ ружьемъ. Цѣпи на колодникахъ звенѣли, и, при каждомъ пошрясеніи шелеги, головы ихъ прыгали, а повиешія ноги ударялись одна объ другую.

Тонкій и пронзительный дождь спудилъ воздухъ; холспинныя шшаны ихъ прилипали къ колѣнамъ, сдѣлавшись изъ сѣрыхъ черными. Съ ихъ длинныхъ бородъ и корашкихъ волосъ лились ручьи; лица у нихъ были багроваго цвѣша; несчастные дрожали и скрипѣли зубами опъ бѣшенства и спужи. Впрочемъ малѣйшее движеніе было невозможно.

Бывъ однажды прикованнымъ къ сей
цѣпи, дѣлаешься уже только обломкомъ по-
го безобразнаго цѣлаго, котораго называешь
кордономъ, а двигаешься подобно одному
человѣку. Умъ долженъ сложить съ себя
свое достоинство; галерный карканъ осуж-
даешь его на смерть; а само живоное мо-
жешь чувствовашъ нужды и позывъ на пи-
щу въ одни опредѣленные часы. Такимъ
образомъ неподвижные, большею частію
полунагіе, съ открытыми головами и повис-
шими ногами, предпринимали они двадца-
тишестидневное свое странствіе на шѣхъ
же самыхъ шелегахъ, въ одномъ и томъ же
плащѣ какъ въ зной среди Іюля, такъ
и въ холодные Ноябрьскіе дожди. Подумаешь,
что люди хотяшъ сдѣлать и небо участ-
никомъ въ своемъ странствѣ.

Между конвоемъ и шелегами завелся ка-
кій-то ужасный разговоръ: съ одной сто-
роны ругательства, съ другой угрозы, и съ
обѣихъ сторонъ проклятія; но Капипанъ
подавъ знакъ, палочные удары посыпались
въ шелеги безъ разбора, на плеча и головы,
и всё приняло видъ пищины, называемой
порядкомъ. Но глаза пылали мщеніемъ, и
кулаки несчастныхъ сводило у нихъ на ко-
лѣнахъ.

Пять шелегъ, сопровождаемыхъ конными

жандармами и пѣшею галерною спражей, пропали съ глазъ одна за другою въ полу-кружїи высокихъ ворошъ Бисепра, показалась шестая, на копорой набросаны были, какъ попало, коспрюли, мѣдные кошлы и запасныя цѣпи. Нѣсколько галерныхъ спорожей, опспавшихъ у пищейныхъ домовъ, спѣшили присоединиться къ своему опспяду. Всѣ прошли. Зрѣлище изчезло какъ Фантасмагорїя. Постепенно слабѣлъ и тяжелый стукъ колесъ и лошадиныхъ копытъ по мощенной Фоншенебельской дорогѣ, и свистъ бичей, и звонъ цѣпей, и вой народа, сопровождавшаго галерныхъ невольниковъ проклятіями.

И сіе-то было для нихъ началомъ!

Но объ чемъ говорилъ мнѣ Адвокатъ? О галерахъ! Нѣтъ, лучше тысячу разъ смерти! Лучше эшафотъ нежели галеры, лучше ничтожество чѣмъ адъ, лучше ножъ гильёшины нежели галерный карканъ! Галеры, правосудное небо!

XV.

Къ несчастью я не былъ боленъ. На другій день должно было выйти изъ больницы. Тюрьма опять овладѣла мною.

Не боленъ! Въ самомъ дѣлѣ, я молодъ, здоровъ и крѣпокъ. Кровь свободно прошекаетъ въ моихъ жилахъ, всѣ члены мои повинуются моимъ причудамъ, я силенъ тѣломъ и духомъ, созданъ для долгой жизни; такъ, всё это правда; однако во мнѣ болѣзнь, болѣзнь смертельная, болѣзнь отъ руки человѣческой.

Съ того времени, какъ выпущенъ я изъ больницы, мнѣ приходилъ мысль мучительная, мысль, повергающая меня въ изступленіе: мнѣ предсавляется, что я могъ бы убѣжать, еслибъ оставили меня въ лазаретъ. Лѣкаря, сестры милосердія брали, кажешся, во мнѣ участіе. Умереть въ такой молодости и такую смертью! Можно было подумать, что они сожалѣли меня, съ шлюхою-то заботливостью тѣснились вокругъ моего изголовья. Нѣтъ, ихъ влекло одно любопытство, и припомъ врачеваніе сихъ людей можешь избавить отъ какой нибудь горячки, а не отъ смертнаго приговора. Между тѣмъ и послѣднее было бы для нихъ

такъ легко! Только отворишь дверь! Чего бы имъ спойло?

Теперь всё кончилось! Жалоба моя будешь отвергнута, пошому что всё шло какъ слѣдуешь, свидѣтели сдѣлали показанія, испцы подали искъ, судьи судили. Я не надѣюсь уже ни на что, развѣ шолько... нѣтъ, глупость! Всё пропало! Жалоба естъ веревка, на кошорой висишь надъ бездною, и кошорая прещишь каждую минушу, пока совсѣмъ порвѣтся.. Тоже самое было бы, еслибъ ножу гильѣшины должно было падашь шесть недѣль.

Но можешь бышь получи я прощеніе?

Мнѣ получишь прощеніе? Черезъ кого? За что? Какимъ образомъ? Невозможно, чшобы просшили меня. Нуженъ примѣръ, какъ говорятъ они.

Мнѣ оспаешся уже шолько при шага: Бисепръ, шюрма Палаты, Гревская площадь.

XVI.

Въ продолженіи немногихъ часовъ, проведенныхъ мною въ больницѣ, я сидѣлъ у окна, на солнцѣ (оно вновь появилось), или по крайней мѣрѣ пользуясь имъ сполько, сколько позволяли желѣзныя рѣшетки.

Голова моя горѣла и сдѣлалась шакъ тяжела, что я не могъ поддерживать ее обѣими своими руками, руки мои лежали на колѣнахъ, а ноги упирались въ кресло; ошъ упомненія я обыкновенно сгибаюсь и свершываюсь клубкомъ; можно бы подумашъ, что у меня не было ни костей въ членахъ, ни мышцъ въ шѣлѣ.

Никогда не дѣйствововали на меня шакъ сильно душныя пары темницы, всё еще звенѣли въ ушахъ моихъ цѣпи галерныхъ невольниковъ, я чувствововалъ ужасную усшалость ошъ Бисепра. Мнѣ казалось, что милосердый Господь сжалился надо мною, и пошлешъ въ ушѣшеніе мое хотя какую нибудь пшичку, которая будетъ цѣшъ шамъ, напрошивъ, на краю кровли.

Не знаю, Богъ ли или злой духъ услышалъ меня; но почти въ ту же минушу раздался подъ окномъ моимъ голосъ, не пернашаго, но гораздо лучше, чистый, свѣжій, нѣжный голосъ пшнадцатилѣтней дѣвушки.

Я поднялъ голову, какъ бы вдругъ опамя-
шовавшись, слушалъ съ жадностью пѣсню,
кошорую она пѣла голосомъ просяжнымъ
и унылымъ, какъ будто шомно и жалобно
ворковада; вошь слова:

Я на улицѣ Мальской
Былъ подѣ спражу взяшь:

Ай бѣда!

Обѣздные напали;

Ай бѣда, ай бѣда!

Будшо вихрь, набѣжали:

Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Не могу выразишь, какъ сдѣладось мнѣ
шомно. Голось продолжалъ:

Будшо вихрь, набѣжали,

Ай бѣда!

Руки, ноги куюшь,

Ай бѣда, ай бѣда!

И начальникъ ихъ шущъ,

Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Вдругъ опкуда ни взялся,

Ай бѣда, ай бѣда!

Мнѣ шоварищъ попался,

Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Мнѣ шоварищъ попался,

Ай бѣда!

Повѣсти, брашь, женѣ,

Ай бѣда, ай бѣда!

Что я запершь въ шюрмѣ,

Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Вотъ жена прибѣжала,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 Что ты сдѣлала? вскричала,
 Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Что ты сдѣлала? вскричала,
 Ай бѣда!
 „Кто-то шель; я къ нему,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 Заколелъ, взялъ казну,
 Ай бѣда мнѣ, бѣда!
 И часы снялъ и пряжки,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 Обобралъ до рубашки,
 Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Обобралъ до рубашки,
 Ай бѣда!“
 Къ Королю вмгъ жена,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 Ему въ ноги она,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 И вручаетъ прошенье,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 Чшобы далъ мнѣ прощенье.
 Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Чшобы далъ мнѣ прощенье,
 Ай бѣда!
 Лишь бы вырваться мнѣ,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 Я купилъ бы женѣ,
 Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Дѣвѣ леншы шелковыя,
 Ай бѣда, ай бѣда!
 Башмаки щегольскіе,
 Ай бѣда мнѣ, бѣда!

Я не слышалъ и не могъ бы слышать болѣе. Полупонятный и полускрытый смыслъ сего ужаснаго гореванья, борьба разбойника съ дозоромъ, встрѣча съ воромъ, кошораго посылаешь онъ къ своей женѣ, ужасное уведомленіе: Я убилъ человѣка и схваченъ. Приходъ жены къ Королю съ челобитнею, негодованіе Короля! И обо всѣмъ эшомъ пѣлъ самымъ жалобнымъ напѣвомъ самый прогашельный голосъ, какій лѣвлялъ когда либо человѣческой слухъ? . . . Всѣ сіе разшерзало, окаменило, разрушило меня. Отвращительно было слышать изъ алыхъ и свѣжихъ устъ споль чудовищныя слова. Не поже ли самое слизь улипки на розѣ.

Не могу описать свои чувствованія; я былъ и оскорбленъ и разпроганъ. Грубыя слова, варварскій и площадный языкъ, гнусный выговоръ вмѣстѣ съ голосомъ молодой дѣвушки, пріятный переливъ изъ дѣпскаго въ жецскій голосъ! Слова безобразныя и неспройныя, пѣшыя, мѣрныя, разнородныя!

Ахъ! Какъ позорна шюрма! Въ ней всѣ осквернено какимъ-то ядомъ. Въ ней

всё дѣлается опшрашительнымъ, даже самая пѣсня пшнадцатилѣтней дѣвушки!

Видите ли здѣсь пшчку, у ней на крыль грязь, вы сорвали красивый цвѣшокъ; обоняете, опъ него смрадъ.

О! Еслибъ я вырвался, какъ помчался бы я по полямъ!

Нѣшь, зачѣмъ бѣжать. Спанушь смопрѣшь и подозрѣвать. Напрошивъ, иди тихо, поднявши голову, припѣвая, надѣнь какойнибудь старый голубый армякъ съ красными узорами, кошорый совершенно измѣняешь наружность человѣка. Въ шакихъ армякахъ ходяшь всѣ огородники, живущіе вокругъ города.

Я помню, недалеко отъ Аркеля, семью гусныхъ деревъ у одного болопа, куда, бывши въ училищѣ, приходилъ я съ поварихами своими по четвергамъ ловить лягушекъ. Здѣсь-то спрятался бы я до вечера.

При наступленіи ночи, пустился бы я снова въ дорогу, и пошелъ бы въ Винценъ. Нѣшь, шуда не пустила бы рѣка. Я пошелъ бы въ Арпажонъ. Было бы лучше свернуть на Сен-жерменскую дорогу, и идти въ Гавръ, а тамъ съѣсть на корабль, и ѣхать въ Англію. Пусишь такъ; но я прихожу въ Лонжоли, проходишь жандармъ, спрашиваетъ у меня пашпорша. . . . я погибъ! Ахъ, несчастный

мечпашель, прежде разломай окружающую
тебя спѣну, въ которой полщины при фу-
ша! Смерть! Смерть!

Не - я ли приходилъ совершеннымъ ре-
бенкомъ сюда, въ Бисепрь, смотрѣть на
большій колодець и сумасшедшихъ!

XVIII.

Между шѣмъ, какъ я писалъ всё сіе, ночникъ поблѣднѣлъ, наступилъ день, часы на шюремной церквѣ пробили шесть разъ.

Что эшо значишь? шемничный спражь вошелъ ко мнѣ, снялъ шляпу, поклонился мнѣ, извинился, что беспокоилъ меня, и смягчая, сколько могъ, грубый свой голосъ, спросилъ, чего желалъ я на завпракъ? . .

Я задрожалъ. Уже ли сегодня?

XIX.

Сегодня!

Самъ Дирекшоръ шюръмы посѣшилъ меня, и спросилъ, въ чемъ могъ мнѣ угодить, или бышь полезнымъ; изъявилъ желаніе, чѣшобъ я былъ доволенъ и имъ и его подчиненными; освѣдомился, съ выраженіемъ учасшія, здоровъ ли я и какъ проведъ ночь, уходя, назвалъ меня Милосшивымъ Государемъ.

Сегодня!

XX.

Тюремщикъ не думаетъ, чтобъ я ропшала на него и его помощниковъ. Онъ правъ, съ моей стороны было бы дурно ропшати; они исполняли свою обязанность, тщательнo сперегли меня, да и, входя и уходя, соблюдали учтивость. Какъ же не бынь мнѣ довольнымъ?

Тюремный спражь, съ привѣпливою своею улыбкою, ласковыми словами, вкрадчивымъ и испышующимъ взоромъ, толстыми и широкими руками, естъ одицетворенная шюрма, Бисепръ, сдѣлавшійся челоувкомъ. Около меня всё шюрма, я нахожу шюрму во всѣхъ видахъ, въ видѣ челоувка, въ видѣ рѣшешки, въ видѣ желѣзнаго запора. Сія спѣна шюрма изъ камня, сія дверь шюрма изъ дерева, сін спражи шюрма изъ плѣши и косшей. Тюрма естъ родъ сущесва ужаснаго, полнаго, недѣлмаго, полудомъ и получелоувкъ. Я жерсва ея; она шѣснпшь меня; обвиваецся около меня всѣми своими изгибами; держпшь меня въ гранигныхъ спѣнахъ своихъ; прачеть меня къ себѣ подъ желѣзные замки, и надзираецъ за мною глазами шюремщика:

Ахъ, я несчастный! что спанешся, что сдѣлають со мною?

XXI.

Теперь я спокоенъ, всё кончилось, кончилось хорошо. Мучительное недоумѣніе, въ кошорое повергнулъ меня приходъ Директора, миновалось. Признаюсь, я надѣялся еще. . . Теперь, слава Богу, я не надѣюсь больше.

Вошь чшо случилось:

Въ шу самую минушу, какъ пробило половина седьмага часа, — нѣшь, шогда было полчешверши, — дверь въ мою горницу отворилась. Вошелъ съдѣй спарнкъ, въ свромъ корошкомъ серпукъ: Онъ расшегнулъ свой камзолъ, я увидѣлъ рясу, манжеты. Эшо былъ Священникъ, но не шюремный Духовникъ, вошь чшо не обѣщало мнѣ добра.

Онъ сълъ прошивъ меня съ благосклонною улыбкой, покачалъ головою и обратилъ глаза вверхъ. Сынъ мой, сказалъ онъ мнѣ, приготовился ли шы?

Я отвѣчалъ ему слабымъ голосомъ: Я не пригошовился, а гошовъ,

Между шѣмъ въ глазахъ у меня пошемнѣло, холодный потъ вышупилъ изо всѣхъ моихъ членовъ, я чувствовалъ чшо виски у меня налились кровью, и въ ушахъ шумѣло.

Я качался на своемъ стулѣ, какъ сонный, а добрый спарець говорилъ. По крайней мѣрѣ мнѣ шакъ казалось, и я какъ будто помню, что губы его двигались, глаза сверкали.

Дверь отворилась въ другій разъ. Спужъ запоровъ прервалъ мое оцѣпенѣніе и его разговоръ. Родъ господчика въ черномъ плащѣ, въ сопровожденіи Дирекшора шорьмы, вошелъ и поклонился мнѣ низко. У него на лицѣ нѣсколько изображалась та искусственная печаль, копорою опличающія чиновники, упопрѣбляемые при погребальныхъ шоржесшвахъ. Онъ держалъ свисокъ бумаги.

Милоспивый Государь, сказалъ онъ мнѣ, со свѣтской улыбкою, я Придворный Королевскій Приспавъ въ Парижѣ. Чеспъ имѣю предспавившья вамъ опъ имени Генераль-Прокурора.

Первый ударъ миновался. Всѣ мужесштво мое возврапилось.

Ишакъ господинъ Генераль-Прокуроръ, опвѣчалъ я ему, шребовалъ шакъ наспопательно головы моей? Я не заслуживаю шого, шшобы онъ писалъ ко мнѣ. Надѣюсь, шшобы смершъ моя досспавившъ ему великое удовольшшвіе; пошшому шшобы мнѣ горько думалъ, шшобы онъ сполько домогался оной, бывъ къ шшому равнодушнымъ.

Я выслушала всё сіе, и присовокупилъ твердымъ голосомъ: извольте чисташъ, сударь!

Онъ началъ чисташъ мнѣ длинную бумагу, припѣвая на каждой спрокъ, и оспанавливаясь на каждомъ словѣ. Это было опроверженіе моей жалобы.

— Приговоръ будешь исполненъ сегодня на Гревской площади, примолвилъ онъ, до окончанія чшенія, не поднимая глазъ со своей бумаги. Мы поѣдемъ въ половинѣ осьмаго часа въ Палату. — Будьте такъ добры, сударь, повзжайте со мною.

Нѣсколько минушь уже я слушала его. Директоръ разговаривалъ со Священникомъ; Приславъ не сводилъ глазъ со своей бумаги; я глядѣлъ на опворенную дверь. . . — Ахъ! несчастный! въ корридоръ четыре стрѣлка.

Приславъ повторилъ свой вопросъ, и въ эпошъ разъ уже взглянулъ на меня. — Когда вамъ угодно, опвѣчалъ я ему.

Онъ поклонился мнѣ, сказавъ: — чрезъ полчаса я буду имѣть честь придти за вами.

Меня оставили одного.

Боже мой! Дайте мнѣ средство уйти! Какое нибудь средство! Мнѣ должно вырваться! Должно! Теперь же! Въ ворота, въ

окна, по кровль! Пущь хопь придешся мнѣ
измождишься за перекладинами!

О бѣшенство! Демоны! Прокляшіе! Нуж-
ны цѣлые мѣсяцы и хорошія орудія, чшобы
сдѣлать въ сей спѣнѣ проломъ, а въ моемъ
распоряженіи нѣтъ ни гвоздя, ни часа.

XXII.

Изъ тюрьмы, находящейся въ домъ Палаты,

Вошь уже я переведенъ, какъ говорится на судебномъ языкѣ. Но не излишне будешь разскажашь мое пушешествіе.

Бьешь половина осьмаго часа, и Приставъ являешся ко мнѣ снова. Я ожидаю васъ, сударь, сказалъ онъ мнѣ. Увы! Не одинъ онъ!

Я вспалъ, сдѣлалъ шагъ; мнѣ казалось, что я не въ силахъ спунить еще разъ, сполько-то ошяжелѣла моя голова, и ослабѣли мои ноги; однако я оправился и пошелъ довольно швердо. Выходя изъ своего чулана, я бросилъ окрешъ себя послѣдній взглядъ. Я любилъ свою шюрму, она оспаешся послѣ меня пустою и опворенною: эшо не идешь къ шюрмѣ.

Влрочемъ, она оспанешся въ шакомъ положеніи не надолго. Сегодня ждушъ сюда кого-то, говорили шюремщики, одного приговореннаго къ смерти, надъ кошорымъ производился шеперь судъ.

При поворотѣ изъ корридора, шюремный Священникъ присоединился къ намъ. Онъ только что кончилъ свой завтракъ,

При выходѣ моемъ изъ шюрьмы, Директоръ взялъ меня дружески за руку, и къ стражѣ моей прибавилъ еще чешырехъ инвалидовъ.

У дверей больницы, одинъ умиравшій спарикъ закричалъ мнѣ: До свиданія!

Мы вышли на дворъ. Я вздохнулъ свободно, будто ожилъ.

Мы шли на воздухъ недолго. На первомъ дворѣ стояла почшова кареша, даже самая, въ кошорой я прѣхалъ; эщо было родъ продолговатой одноколки въ двухъ отдѣленіяхъ, соединявшихся поперечною рѣшешкою изъ споль часшыхъ желѣзныхъ проводокъ, чщо можно было почессть ее выпшканною. Въ отдѣленіяхъ сихъ двѣ двери; въ одномъ впереди, а въ другомъ позади одноколки, и все въ ней шакъ нечисто, шакъ подиняло, чщо нищенская шаралпайка, въ сравненіи съ нею, шоржешшвенная кареша.

Прежде, нежели похоронилъ я себя въ сей могилѣ о двухъ колесахъ, взглянулъ на дворъ шѣмъ опщайнымъ взоромъ, предъ коимъ, кажешся, спшны должны бы разрушишья. На дворѣ, кошорый походилъ на небольшую площадь и усаженъ былъ деревьями, собралось еще болѣе зрительей, нежели для гадерныхъ невольниковъ. Вошь ужъ и любопыщные!

Въ день отправленія колодниковъ, шелъ дождь, какій бываетъ осенью, пронзительный и холодный; онъ идешь еще и щецерь, не переспанешъ конечно во весь день, переживешъ и меня.

Дороги были избишпы, дворъ полонъ грязи и воды. Мнѣ пріятно было видѣшь, какъ толпа народа пресмыкалась въ семь болопъ.

Приспавъ и одинъ жандармъ вошли въ передній флигель, Священникъ и я съ другимъ жандармомъ въ задній ошдѣль дома. Чепыре конныхъ жандарма окружали карешу. Ишакъ, кромѣ кучера, восемь человекъ для одного.

Когда я шелъ по лѣспницѣ, какая-то сѣроглазая спаруха сказала: „на эшихъ мнѣ еще пріятнѣе смопрѣшь, нежели на галерныхъ невольниковъ.“

Вѣрю. Зрѣлице приговореннаго къ смерти легче окинушь однимъ взглядомъ, оно скоро оканчивается, и на оное удобно смопрѣшь. Тупъ не развлекаешесъ вы ничѣмъ. Передъ вами одинъ человекъ, и ему одному такая же мѣра бѣдспвій, какъ всѣмъ колодникамъ вмѣстѣ, только муки сіи соединены въ одну почку.

Кареша покачнулась. Проѣзжая подъ сводомъ главныхъ воропъ, издала она глу-

жій шумъ, пошомъ опворилась у, подьзда, и шяжедыя вороша. Бисепра захопнулись снова. Я чувспвоваль, что меня понесли, но пребываль въ оцъпенъни, подобно чело-вѣку, кошорый въ безпамятствѣ и слы-шинь, какъ погребають его. Я слушаль звонъ колокольчиковъ, висѣвшихъ на шеяхъ у почшовыхъ лошадей; онъ опдавался въ ушахъ моихъ глухо, но мѣрными звуками и съ разстановками; я слушаль шумъ по мос-шовой обипыхъ желзомъ колесъ, спукъ ка-решнаго сундука въ рышвинахъ, громкій по-пошь жандармскихъ лошадей вокругъ каре-шы, свисъ бича. Мнѣ казалось, что меня несло вхремь.

Сквозь рѣшетку окна, сдѣланнаго на верху прямо прошивъ меня, глаза мои остано-новились на надписи, начертанной боль-шими буквами надъ главною дверью Бисепра: Домъ Призрѣнїа Спароспи.

— Боже мой! сказала я самъ себѣ, ка-жешся, что есть люди, кошорые и здѣсь доспигають спароспи.

Какъ будшо въ просонкахъ, я придаваль мысли сей разныя значенїя въ своемъ умѣ, разшерзанномъ горестїю. Вдругъ кареша, поворачивая на большую дорогу изъ улицы, ведущей въ Бисепръ, перемѣнила каршину, и глазамъ предспавились башни на церкви

во имя Богородицы, чуть-чуть синѣя въ густомъ шуманѣ, поглощавшемъ Парижъ. вмѣстѣ съ симъ, и направленіе ума моего измѣнилось; я сдѣлался такою же машиной, какъ и карета. Мысль о Бисепрѣ смѣнилась мыслию о башняхъ на церкви Богородицы. Кто будетъ споятъ на башнѣ, гдѣ развѣвается флагъ, шопъ увидишь хорошо, сказалъ я самъ себѣ, съ глупою улыбкою.

Кажется, въ это время Священникъ началъ опять говорить со мною; я не прерывалъ его. Въ ушахъ моихъ раздавался уже шумъ колесъ, лошадиный попопъ, свиспъ бича. Слова Священника только прибавили шума.

Я слушалъ въ молчаніи сіе паденіе однозвучныхъ словъ, копорья, подобно журчанію источника, усыпляли меня, и мелькали предъ мысленными очами моими, безпрестанно измѣняясь и оспаваясь всё такими же, какъ искривленные вязы на большихъ дорогахъ; вдругъ тонкій, но, вмѣстѣ съ шѣмъ, грубый голосъ Пристава, сидѣвшаго впереди, потрясъ меня.

— Ну чтожь! Господинъ Аббатъ, сказалъ онъ почти весело, не знаете ли чего нибудь новаго?

Съ сими словами обращался онъ къ Священнику.

Духовникъ, не переспававшій говорить мнѣ ни на минушу, и оглушаемый карешою, не давалъ отвѣта.

— Э! Э! началъ опять говорить Приставъ, возвышая голосъ, чшобы покрыть шумъ колесъ: Адская кареша!

Адская! въ самомъ дѣлѣ.

Онъ продолжалъ:

— Въ эпомъ шумѣ, ей-ей, не услышишь и другъ друга. Но объ чемъ началъ я рѣчь? Сдѣлайте милость, Господинъ Аббашъ, скажите мнѣ, объ чемъ я началъ говорить! Ахъ! Знаете ли вы важную Парижскую новость нынѣшняго дня?

Я задрожалъ, какъ будто говорилъ онъ обо мнѣ.

— Нѣтъ, сказалъ Священникъ, услышавъ наконецъ сдѣланный ему вопросъ, у меня не было времени прочиташъ сегодня упромъ журналы; я посмопрю вечеромъ. Когда я занятъ весь день, какъ шеперь, по приказываю швейцару оставлять у себя мои журналы, и читаю ихъ, возвращаясь домой.

— Не можете быть! возразилъ Приставъ, вы вѣрно знаете эту Парижскую новость, новость сегодняшнего утра!

Я началъ говорить: Кажется, я знаю сію новость.

Приславъ поглядѣвъ на меня: Вы! Точно!

— Въ такомъ случаѣ, какъ думаете вы объ эпомъ?

— Вы любопытны! сказалъ я ему.

— Почему, сударь? возразилъ Приславъ.

О полицикѣ каждый думаешь по своему. Изъ уваженія къ вамъ, я увѣренъ, что и у васъ свое мнѣніе. Что касается до меня, то я совершенно согласенъ, чтобы національная гвардія была возобновлена. Я былъ въ полку сержантомъ, и, ей Богу, было весело.

— Я прервалъ его. Я не полагалъ, чтобы дѣло шло объ эпомъ.

— А объ чемъ же? вы говорили, что знаете новость. . . .

— Я разумѣлъ другую новость, кошорою Парижъ также занимается сегодня.

Глупецъ не понялъ; любопытство его пробудилось. Другую новость? Гдѣ могли вы собрать столько новостей? Объяснитесь, ради Бога, почтенный мой, о какой новости вы говорили? Не знаете ли вы эшого, Господиъ Аббашъ? Не рассказывали ли вамъ о помъ подробнѣе? Сообщите мнѣ, прошу васъ. Въ чемъ дѣло? . . . Признаюсь, люблю новости, я рассказываю ихъ Господину Президенту, а эшо забавляешь его.

Онъ наговорилъ множество подобнаго вздора, оборачиваясь попеременно то къ Священнику, то ко мнѣ, а я, вмѣсто всякаго отвѣта, пожималъ только плечами.

— Да объ чемъ думаете вы, сказалъ онъ мнѣ?

— Я думаю, отвѣчалъ я, что сегодня вечеромъ не буду уже думать.

— Вошь объ чемъ, возразилъ онъ; право, вы слишкомъ печальны! Господинъ Костень разговаривалъ.

Пошомъ, нѣсколько помолчавъ: Я везъ Господина Папавуана, онъ былъ въ своей бобровой шапочкѣ, и курилъ сигарку. Что касается до Лярошельскихъ молодцевъ, то они разговаривали только между собою; но всё же разговаривали.

Онъ еще остановился, пошомъ продолжалъ:

Глупцы! Мечшатели! Они, казалось, всѣхъ презирали. Но вы, ей-ей, очень задумчивы, молодой человекъ.

— Молодой человекъ! сказалъ я ему: я шарфе васъ; съ каждою новой четвертью часа, дѣлаюсь я шарфе цѣлымъ годомъ.

Онъ оборотился, поглядѣлъ на меня нѣсколько минушъ съ глупымъ удивленіемъ; пошомъ началъ шутить не ксташи.

Полно, вы смѣетесь! Сшарьте меня! Да я гожусь вамъ въ дѣды.

Я не намѣренъ смѣяться, отвѣчалъ я ему сурово.

Онъ открылъ свою шабакерку.

— Не сердитесь, любезнѣйшій мой; понюхайте шабаку, и не помните зла.

— Не бойтесь; мнѣ не долго помнить зло.

Въ эту минушу, шабакерка его, которую подавалъ онъ мнѣ, вспрыснулась съ раздѣлявшею насъ рѣшеткою. Кареша ударилась въ ухабъ, и шабакерка, отскочивъ отъ рѣшетки, упала къ ногамъ жандарма безъ крышки и шабаку.

— Проклятая рѣшетка! вскричалъ Приспавъ.

Онъ оборотился ко мнѣ.

— Скажите! Не ужасно ли мое несчастье? Я потерялъ весь свой шабакъ!

— Я теряю болѣе вашего, отвѣчалъ я съ усмѣшкою.

Онъ спарался собирать свой шабакъ, ворча сквозь зубы: Болѣе моего! Это легко сказать. Безъ шабаку до Парижа! Ужасно!

Духовникъ сказалъ ему нѣсколько утѣшительныхъ словъ, и, не знаю, отъ того ли, что я былъ слишкомъ углубленъ въ себя, но мнѣ показалось, что слова сіи были

продолженіемъ проповѣди, которой начало говорено было мнѣ. Мало по малу завязался разговоръ между Священникомъ и Приставомъ; я далъ имъ разговаривать, а самъ началъ размышлять.

При подъѣздѣ къ заспавъ, слышался мнѣ необычайный шумъ: конечно я былъ въ размысленіи.

Кареша оспановлена была на нѣсколько времени шаможеннымъ дозоромъ. Городскіе досмотрщики освидѣтельствовали оную. Еслибъ вѣди на бойню барана или быка; то надо было бы поплашиться; но привилегія на человѣческую голову дается безъ плашы. Мы проѣхали.

Миновавъ бульваръ, лошади побѣжали скорою рысью по старымъ извилистымъ улицамъ предмѣстья Сен-Марсо, и, такъ называемымъ, городскимъ, копорья вьюшся и пересѣкають одна другую, какъ пысячи спезей въ муравейникъ. По мостовой узкихъ сихъ улицъ кареша покашилась шакъ скоро и съ шакимъ спукомъ, что наружный шумъ совсѣмъ не доходилъ уже до моего слуха. Когда я взглядывалъ въ маленькое чепыреугольное окно своего экипажа, то мнѣ казалось, что толпы прохожихъ оспанавливались и смотрѣли на мою карешу, а ребяшники спаями бѣжали за нею. На пере-

креспкахъ видѣлись мнѣ также, тамъ му-
щина, здѣсь спаруха въ рубищахъ, иногда
оба вмѣстѣ; въ рукахъ у нихъ было по пу-
ку печашныхъ листовъ, копорые прохожіе
хвашали наперерывъ, открывая уста, какъ
бы хотѣли издашь громкій крикъ.

Въ домъ Палашы пробило половина де-
вяшаго часа, когда мы вѣхали на дворъ
находящейся въ ономъ шюрмы. При видѣ
огромной лѣсшницы, мрачной часовни, тем-
ныхъ входовъ, я содрогнулся. Когда кареша
остановилась, я думаль, чпо, вмѣстѣ съ
тѣмъ, остановишся и біеніе моего сердца.

Я собралъ всѣ свои силы; дверь отво-
рилась съ быспрошою молніи, я выпрыгнулъ
изъ подвижной шюрмы, и успремился подъ
сводъ между двумя рядами солдатъ. Гдѣ мнѣ
должно было проходитьъ, тамъ сшояли уже
шолпы народа!

XXIII.

Доколѣ я шелъ по открытымъ для всѣхъ галлереймъ судейской Палаты, шо чувствовалъ себя почти на свободѣ и не терялъ бодрости; но всё мое мужество оставило меня, когда ошперли предо мною низкія дѣри, когда я увидѣлъ пошпенныя лѣспницы, скрытые выходы, длинныя, душныя и глухіе корридоры, куда входяшь шолько судьи и осужденныя.

Приславъ не опходилъ опъ меня. Священникъ оплучился на два часа: у него были свои дѣла.

Меня опвели въ кабинетъ Дирекшора, кошорому Приславъ и сдалъ меня. Эшо былъ обмѣнь. Дирекшоръ попросилъ его подождать немного, говоря, что у него была дичь, для сдачи ему, съ шѣмъ, чтобы опвезти ее немедленно въ Бисепръ въ той же каретѣ, въ кошорой я прѣхалъ. Подъ дичью сей подразумѣвалъ онъ, безъ сомнѣнія, приговореннаго къ смерши, кошорому надлежало спать на оставшемся послѣ меня пукѣ соломы. Хорошо, сказалъ Приславъ Дирекшору, я подожду нѣсколько времени; мы кончимъ вдругъ два дѣла, и кшапи.

— Между шѣмъ помѣспили меня въ маленькій кабинетъ, смежный съ кабинетомъ

Директора. Здѣсь оставили меня одного, заперевъ крѣпко.

Не знаю, объ чемъ я думалъ и сколько времени былъ шамъ, какъ вдругъ грубый и громкій хохотъ, раздавшійся у моего уха, вывелъ меня изъ задумчивости.

Съ шрепешомъ поднялъ я глаза. Я находился въ горницѣ уже не одинъ: со мною былъ другій, человекъ лѣтъ пятидесяти пяти, средняго роста, въ морщинахъ, горбашый, полусѣдый, широкоплечій, косый, сѣроглазый, съ злобною усмѣшкою на лицѣ, запачканный, въ лохмотьяхъ, полунагій, ошвращительнаго вида. Я не замѣшилъ, когда онъ вошелъ; какъ будто дверь ошворилась, извергла его, и снова захлопнулась, а меня шупъ и не было. Ахъ! Еслибъ смерть зашпигла меня такимъ образомъ.

Нѣсколько секундъ я и незнакомецъ смотрѣли другъ на друга пристально: онъ съ прежнимъ смѣхомъ, похожимъ на хрипѣніе; я полуизумленный, полуиспутанный.

— Кто вы? сказалъ я ему наконецъ.

— Смѣшный вопросъ! ошвѣчалъ онъ. Кусокъ мяса.

— Кусокъ мяса! Чшо эшо значить?

Вопросъ сей умножилъ его веселость.

— Эшо значить, вскричалъ онъ, захошавъ громко, чшо палачъ будетъ играть

моею головою черезъ шесть недѣль, поч-
но такъ какъ съ швоею черезъ шесть ча-
совъ. А! А! Теперь видно шы поняль.

Въ самомъ дѣль, я поблѣднѣль, и волосы
мои поднялись дыбомъ: это былъ пригово-
ренный въ шопъ день къ смерти, шопъ са-
мый, кошорато ожидали въ Бисепрь, мой
наслѣдникъ.

Онъ продолжалъ:

Чего хочешь шы? Вошь моя исторія:
я сынъ славнаго вора; жаль, что палачъ по-
спрудилъ однажды повязашъ ему галспукъ.
Тогда много было рабошы висѣлицъ. Шес-
пи лѣшь, оспался я безъ опца и машери;
лѣшомъ я валялся въ пыли у дорогъ, и про-
ѣзжавшіе выбрасывали мнѣ изъ почшовыхъ
экипажей своихъ по копѣйкѣ, зимой я хо-
дилъ по грязи босый, подувая въ покраснѣв-
шіе свои пальцы; шшаны мои были въ лох-
мошь. На десяшомъ году, началъ я упо-
шребляшъ свои руки въ дѣло, шо опорож-
нивалъ карманъ, шо кралъ шинель; десяти
лѣшь, былъ я плушомъ; пошомъ вошелъ въ
связи; на осмнадцашомъ, былъ я опъявлен-
нымъ воромъ, вломился въ лавку, поддѣлалъ
ключъ. Меня поймали. Я былъ уже на воз-
расшѣ; меня опправили на галеры. На гале-
рахъ худо: спишь на доскѣ, пьешь одну во-
ду, ѣшь черный хлѣбъ, шаскаешь цѣнное

ядро, негодное ни къ чему, вѣчно подъ на-
 лочными ударами и на солнечномъ жару. Въ
 добавокъ, обрѣюшь себя, а у меня были пре-
 красные каштановые волосы! . . . Но не
 жалю! Я пожилъ; въ пятнадцать лѣтъ и
 безъ того они выльзли бы! Мнѣ было шрид-
 цать два года: однажды, поуспру, дали мнѣ
 видъ и шестьдесять шесть франковъ, ко-
 торые накопилъ я въ продолженіи пятнад-
 цатилѣшняго моего пребыванія на галерахъ,
 работающая по шестнадцати часовъ въ день,
 по шридцати дней въ мѣсяцъ, по двенадцати
 мѣсяцевъ въ годъ. Всѣ равно, я хошѣлъ
 быть честнымъ человѣкомъ съ шестьюде-
 сятью шестью франками, и подъ моимъ ру-
 бищемъ скрывалось болѣе благородныхъ чув-
 ствованій, нежели сколько ихъ естъ подъ
 рясою Аббаша. Но проклятый паспортъ!
 Онъ былъ желшаго цвѣша, и внизу было на-
 писано на немъ: освобожденный колодникъ.
 Я долженъ былъ показывать его вездѣ, гдѣ
 проходилъ, и предспавлялъ разъ въ недѣлю
 начальству того мѣста, гдѣ ошанавливался.
 Прекрасный ашшесшашъ! Я былъ пугали-
 щемъ; при видѣ меня, маленькія дѣти раз-
 бѣгались, всякой запиралъ двери. Никто
 не хошѣлъ давать мнѣ работу. Я провѣлъ
 свои шестьдесять франковъ; а надо было про-
 кармаивать себя. Я показывалъ, что мои ру-

ки годны къ рабошѣ, зашворяли двери. Я вызывался рабошашъ цѣлый день за пятадцашъ, за десяшъ, за пяшъ копѣекъ. Всѣ напрасно. Чшо дѣлашъ? Однажды я былъ голоденъ, выбилъ спекло у булочника, и схвашилъ хлѣбъ, а булочникъ схвашилъ меня; я не съѣлъ хлѣба, а меня послали навсегда на галеры, и выжгли на плечѣ при буквы; я покажу ихъ шебѣ, ежели хочешъ. Такое наказаніе называется повпорипельнымъ. И вопшъ я опяшъ на галерахъ, опяшъ въ Тулонѣ, но въ эпошъ разъ уже съ приговоренными на вѣчную галерную рабошу. Надо было уйши. Оставалось шолько проломашъ при спѣны, и перерѣзашъ двѣ цѣпи: у меня былъ гвоздъ, и я ушелъ. Выпалили изъ пушки, въ знакъ шревоги; ибо наша брашья ходишъ въ красномъ, какъ Римскіе Кардиналы, и, при опправленіи нашемъ, паляшъ изъ пушекъ. Порохъ попалъ въ воробьевъ. На сей разъ не было у меня желшаго паспорша, но не было и денегъ. Я вспрѣшился съ шоварищами, кошорые или шакжѣ выжили свое время, или были въ бѣгахъ. Начальникъ ихъ пригласилъ меня въ шоварищество къ нимъ; они убивали по большимъ дорогамъ. Я принялъ предложеніе, и началъ убивашъ, чшобы жишъ. Я подшерегалъ шо дилижансъ, шо почшовую карешу, шо вхав-

шаго верхомъ торговца быками. Мы брали деньги, бросали скоть или карешу, а людей хоронили подъ деревьями, спараясь особенно, чщобы невидно было ногъ; попомъ утащывали сугробъ, опъ чего не замъшно было, чшо землю недавно разрывали. Въ шакихъ-шо занящяхъ я состарълся, жилъ въ кустарникахъ, спалъ подъ опскрытымъ небомъ, скрываясь опъ преслѣдованія изъ лъса въ лъсъ, но по крайней мъръ былъ на свободѣ и принадлежалъ себѣ самому. Всѣ кончшся шакъ или иначе. Однажды, ночью, жандармы словили насъ. Товарищи мои убъжали: но я былъ спарфе, и оспался въ сѣщяхъ у сихъ ловцевъ, у которыхъ шляпы съ галунами. Меня привели сюда. Я миновалъ уже всѣ сщупени, кромъ одной. Украсшь плашокъ, и убшщъ человекъ, я считалъ уже за одно, мнѣ оспавался только эшафощъ. Думашь было не время. Я начиналъ спаръшся, и дъладся неспособнымъ ни къ чему. Опецъ мой попалъ на висѣлицу, я же удаляюсь на гильѣшину. — Вошь, брашь.

Я слушалъ его въ окаменѣннн. Онъ началъ смъяться громче прежняго, и хошьль вщяшь меня за руку. Я опскочилъ съ ужасомъ.

— Другъ мой, сказалъ онъ мнѣ, кажешся, чшо ты не изъ храбрыхъ. Не показись

трусомъ передъ смертью: послушай, тяжело иди на Гревскую площадь; но мигомъ всё оканчиваёшься. Право, я не спалъ бы жаловаться, еслибъ и мнѣ ошрубали голову сегодня же. При насъ былъ бы одинъ и попомъ же Священникъ; а на плаху я легъ бы и послѣ тебя. Видишь ли, я добрый малый. Гм? Скажи, согласенъ ли ты? Будь мнѣ другомъ!

Онъ подвинулся ко мнѣ еще на шагъ.

— Милоспивый Государь, ошвѣчалъ я ему, ошпалкивая его, покорно благодарю.

Онъ опять засмѣялся,

— А! А! Сударь, вы Маркизь! Маркизь!

Я прервалъ его: Другъ мой, мнѣ нужно собратъся съ мыслями, ошавъ меня,

Торжесшвенносшь словъ моихъ вдругъ сдѣлала его задумчивымъ. Онъ покачалъ сѣдою и почши безволосою своею головою; попомъ, изрывая ногтями космашую-грудь свою, высшавившуюся изъ подъ разкрывшейся рубашки; Понимаю, проворчалъ онъ сквозь зубы; Священникъ, къ дѣлу!

Попомъ, нѣсколько помолчавъ:

Послушайте, сказалъ онъ мнѣ почши съ робосшию, вы Маркизь, эшо очень хорошо; но на васъ прекрасный серпукъ, въ кошоромъ красовашься вамъ недолго! Палачъ

возьметъ его. Отдайте мнѣ сертукъ, я продамъ его, и куплю шабаку.

Я снялъ съ себя сертукъ, и отдалъ ему. Онъ началъ хлопашъ руками, радуясь, какъ дышя; увидя же, что я былъ въ одной рубахѣ, и дрожалъ отъ холода: — Вы озябли, сударь, вошь вамъ, надѣньше; идешь дождь, вы обмокните; да и на телегѣ надо сидѣшь въ благоприсшойномъ плашь.

Говоря такимъ образомъ, онъ снималъ съ себя полспый жилетъ изъ сѣрой шереси, и надѣвалъ на меня; я не прошивилъся.

Я прислонилъ къ спѣнѣ, и не въ силахъ выразишь впечатлѣнїя, которое производилъ на меня эшотъ человекъ. Онъ спалъ разсмашривашъ сертукъ, который я далъ ему, и ежеминушно вскрикивалъ отъ радости. Карманы совсѣмъ новые! . . . Ворошникъ не вытерся! . . . Мнѣ дадушъ за эшотъ сертукъ, по крайней мѣрѣ, пашнаццашь франковъ. Какое счастье! Табаку на всѣ шесть недѣль!

Отворилась дверь. Пришли за нами обоими; меня надлежало веспи въ горницу, въ которой приговоренные къ смерти ожидають смершнаго часа, его опправилъ въ Бисепрѣ. Онъ спалъ весело въ срединѣ назначеннаго для сопровожденїя его конвоя, и говорилъ жандармамъ: смоприте, не ошиби-

шесъ: мы обмѣнились плащѣмъ; не сочтите
меня за сего господина. Право, теперь
это мнѣ не къ шапи, у меня ещѣ на что
купишь шабаку.

XXIV.

Закоснѣлый злодѣй опнялъ у меня серпукъ, пакъ, опнялъ, я не опдавалъ ему онаго; онъ оставилъ мнѣ рубище, свой позорный жилетъ. На кого буду я похожъ?

Я далъ ему взять свой серпукъ, но не по безопасности или изъ жалосши. Нѣтъ, онъ былъ сильнѣе меня. Ежели бы я спалъ пропившись, онъ далъ бы мнѣ почувствовать силу жilовашыхъ своихъ рукъ.

Жалосшь! Нѣтъ, я дрожалъ отъ злоести, я удавилъ бы собственными своими руками стараго сего изверга, распощалъ бы его своими ногами.

Сердце мое кипитъ гнѣвомъ, оно ожесточилось. Желчь разлилась во мнѣ. Передъ смертию дѣлаещя злымъ.

XXV.

Меня привели въ пѣсную комнату, въ которой не было ничего, кромѣ четырехъ стѣнъ, темнаго рѣшетчатаго окна и двери со множествомъ желѣзныхъ запоровъ, всё это весьма естественно.

Я попросилъ сполы, спула и всего, что нужно для письма. Желаніе мое было исполнено.

Я попросилъ кровати. Тюремщикъ поглядѣлъ на меня съ удивленіемъ, какъ бы желая сказать: На что?

Однако послали въ углу кровать на ремняхъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, пришелъ жандармъ, и расположился въ такъ называемой ими *моей горницѣ*. Не боялся ли, что я удавлюсь ремнями?

XXVI.

Десять часовъ!

О бѣдная моя дочь! Несчастливая моя малюшка! Еще шесть часовъ, и меня не будешь! Меня оппавяшь; какъ нѣкій гадъ, въ Анастомическій Театръ; бросаешь на холодный сподъ, голову вскроуешь, шуловище разсъкуешь, остатками наполняешь гробъ, и всё оппавяешь въ Кламаръ.

Вотъ что сдѣлаюшь съ своимъ опцемъ люди; изъ коихъ ни одинъ не пишавешъ ко мнѣ ненависти, копорые всё жалѣюшь и могли бы спасти меня. Они умершвяшь меня, поняшно ли тебѣ это, Маша? умершвяшь меня хладнокровно, поржесшвенно, для общаго блага! Ахъ! Великій Боже!

Бѣдная малюшка! Отецъ швой любилъ тебѣ, цѣловалъ бѣлую и благоуханную швою шейку; разбиралъ безпрестанно доконы волосъ швоихъ, какъ шелкъ, бралъ пригожее и круглое швое личико въ свою руку; качалъ тебѣ на своихъ колънахъ, а вечеромъ складывалъ ручки швои, и училъ тебѣ молиться Богу.

Но шеперь, кто будешь оказывашъ тебѣ всё это? Кто шанешъ любишь тебѣ? Всѣ дѣши швоего возраста будушь имѣшь опцевъ, у одной тебѣ опца не будешь.

Какъ опвыкашь тебѣ, дитя мое, опъ новаго года, подарковъ, красивыхъ игрушекъ, конфекшовъ и поцѣлуевъ? — Какъ опвыкашь тебѣ, несчастная сиротка, опъ пишья и пищи?

О! Если бы Присяжные шолько увидѣли ее, милую малюшку мою Машу! Они поняли бы, что не должно умерщвлять опца шрехлѣшняго дитяти.

А когда она выросшеть, ежели шолько доживешъ до того времени, что спанется съ нею? Отець ее будешъ жить въ памяти Парижанъ. Я и имя мое будущъ ей пятномъ, ее обременяшь презрѣниемъ, заклеяшь печатью опверженья и позора, и кшо будешъ виновникомъ сего? Я, я, прилѣпленный къ ней всѣми чувствованіями сердца своего. О возлюбленная малюшка моя, Маша! Ужели въ самомъ дѣлѣ будешъ ты спыдись и ужасаться меня?

Несчастный! Сколь великое преступленіе совершилъ я! Къ чему принуждаю согражданъ своихъ!

О! Уже ли въ самомъ дѣлѣ умру я прежде захожденія солнца? Уже ли правда, что со мною это случится? Глухій шумъ кликовъ раздаешся вокругъ сихъ спѣвъ, волны ликующаго народа спѣшаютъ на набережныя, жандармы пригошоваются въ своихъ казар-

махъ, вопъ и Священникъ въ черной рясѣ,
и еще кшо-шо, съ багровыми руками; и всё
эшо для меня! И умерешъ должень я, пошь
самый я, кошорый здѣсь, кошорый живешъ,
движешся, дышешъ, сидишь у сего спола,
похожаго на прочіе спола, и пригоднаго и
для другаго мѣсца; словомъ, я, пошь я, къ
кошорому я прикасаюсь, кошораго я чув-
спвую, и на чьемъ плашь сѣи изгибы!

XXVII.

По крайней мѣрѣ, ежели бы я зналъ спрое-
неніе того, на чемъ мнѣ должно погибнуть,
или хотя бы постигалъ, какъ буду умирать!
Но всё это мнѣ неизвѣстно; о ужасъ!

Названіе самой вещи страшно, и я не
понимаю, какъ могъ до сихъ поръ писать
и произносить оное.

Складъ десяти сихъ буквъ, ихъ видъ,
ихъ очеркъ возбуждающъ мысль ужасную, и
врачъ несчастія, изобрѣвшій самое орудіе,
какъ бы нарочно для сего, родился.

Образъ, представляемый мною подъ симъ
опвраишельнымъ словомъ, неясенъ, неопре-
дѣленъ, и шѣмъ болѣе ужасенъ. Каждый слогъ
есть какъ будто часть машицы. Чудовищ-
ный ея составъ я созидаю и разрушаю въ
умѣ своемъ безпрестанно.

Не смѣю спросить объ ней; но мучи-
тельно не знаю, что такое она, и какъ
приводится въ движеніе. Кажется, шухъ
есть подъемная доска, и должно лечь внизъ
лицемъ. . . Ахъ! волосы мои побѣлѣюшъ прежде,
нежели свалился съ меня голова.

XXVIII.

Однако мнѣ удалось однажды быть свидѣтелемъ такого случая.

Однимъ утромъ, около одиннадцати часовъ, ѣхалъ я по Гревской площади въ каретѣ. Вдругъ карета остановилась.

На площади толпился народъ. Я выставилъ голову, и Гревская площадь и набережная были полны народа; женщины, мужчины, дѣти стояли на подмосткахъ. Надъ головами ихъ устраивался родъ амбона изъ дерева, покрытаго красною краской, при челоуѣка сооружали оный.

Въ этотъ день готовилась казнь одного приговореннаго къ смерти, для котораго и устраивали орудіе.

Я отворотился, не успѣвъ еще увидѣть сію машину. Подлѣ кареты стояла женщина, и говорила ребенку: Посмотри! Ножъ рѣжетъ худо, края смажутъ саломъ.

Вѣроятно и теперь дѣлають тоже. Одиннадцать часовъ било. Они смазываютъ края.

Ахъ! Несчастный, въ нынѣшній разъ, ты не отворотишься.

XXIX.

Прощеніе! Прощеніе! Можешъ быть по-лучу я прощеніе. Король не раздраженъ на меня. Бѣгите за моимъ Адвокатомъ! Скорѣй за Адвокатомъ! Я согласенъ на галеры, на пять лѣтъ на галеры, на двадцать лѣтъ, навсегда съ краснымъ клеймомъ; но не опшимайте у меня жизни.

Колодникъ естъ по крайней мѣрѣ нѣчто движущееся назадъ и впередъ, и видишь солнце.

XXX.

Священникъ возврашился.

У него сѣдые волосы, видъ весьма крошкѣй, доброе, почтенное лице: онъ, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ превосходныхъ качествъ, и образецъ благошворительности. Сегодня пошпру, при мнѣ, высыпаль онъ весь свой кошелекъ въ руки заключенныхъ. Отъ чего же голосъ его не имѣеть въ себѣ прогательнаго, и не льется въ душу? Отъ чего не сказалъ онъ мнѣ еще ничего, что подвѣствовало бы на разумъ мой или сердце?

Сегодня упромъ я былъ въ изступленіи.

Я едва слышаль, что онъ говорилъ мнѣ. Не смотря на то, слова его казались мнѣ бесполезными, и я пребылъ равнодушнымъ: онъ скользили, какъ холодный дождь сей по замерзшему стеклу.

Но, при послѣднемъ его посѣщеніи, я обрадовался, увидя его. Изъ всѣхъ сихъ людей, онъ одинъ оспаетея еще для меня человѣкомъ, сказалъ я самъ себѣ, и возжаждалъ добрыхъ и утѣшительныхъ словъ.

Мы сѣли, онъ на стулъ, я на кровашь. Онъ сказалъ: Сынъ мой, . . . — Слово сіе опшверзло мое сердце. Онъ продолжалъ:

— Сынъ мой, вѣришь ли ты въ Бога?

— Вѣрю, Отецъ мой, опвѣчалъ я ему.

— Вѣришь ли ты въ Свяшую Церковь Каеолическую, Апосшольскую и Римскую?

— Вѣрю, сказалъ я ему.

— Сынъ мой, возразилъ онъ, мнѣ кажешся, ты не изъять отъ сомнѣній. Онъ началъ говорить, говорилъ долго, наказывалъ много словъ, и когда, по мнѣнію его, всё уже высказалъ, шо вспалъ и, посмошрѣвъ на меня въ первый разъ отъ начашія своей рѣчи, спросилъ: — Ишакъ!

Клянусь, что я слушалъ его сперва съ жадносшью, потомъ со вниманіемъ, наконецъ съ преданносшью. Я вспалъ также. Прошу васъ, Отець мой, ошвѣчалъ я ему, оставше меня одного.

Онъ спросилъ меня: — Скоро ли приходишь опяшь?

— Я дамъ знать объ эшомъ.

Онъ удалился, не сказавъ ни слова; но покачалъ головою, какъ бы говоря внушренно: Безбожникъ!

Нѣтъ, какъ низко я ни упалъ; но я не безбожникъ, свидѣтельствуюсь Богомъ, что вѣрю въ Него. Что сказалъ мнѣ сей спарець? Я не слышалъ отъ него ничего разительнаго, ничего шрогашельнаго, ничего извлекающаго слезы, ничего вырвавшася изъ души, ничего, что стремилось бы изъ его сердца прямо въ мое, ничего, сообщеннаго отъ не-

го собственнo мнѣ. Напрoшивъ, всё было неясно, нескладно, пригоднo ко всему и ко всѣмъ; сила замѣнялась напыщенностью, прощoша низoстью. Цѣлое походило на плаксивое поучительное слово и Богословскую Элегию. Въ разныхъ мѣстахъ Лапинскія цитации по Лапину. Сверхъ того, онъ какъ будто говорилъ урокъ, сказанный уже двадцать разъ, или проходилъ тему, которая, оцъ излишняго изученія оной, изгладилась въ его памяти. Ни одного взора въ глазахъ, ни одного ударенія въ словахъ, ни одного движенія въ рукахъ.

Какъ же и быць иначе? Священникъ сей есть духовникъ, опредѣленный собственнo при шюрмѣ. Онъ утѣшаетъ и увѣщаетъ по должности, онъ живетъ оцъ этого. Краснорѣчье его завѣдываетъ колодниками и приговоренными къ смерти. Онъ исповѣдуетъ и утѣшаетъ ихъ, потому что это входитъ въ число обязанностей его мѣста. Онъ соспарлся, сопровождая людей на смерть. Издавна вошло ему въ привычку то, оцъ чего другіе содрогаются. Галеры и эшафотъ встрѣчаются ему повседневно. Онъ равнодушенъ ко всему. Вѣроятно, у него есть своя пепрадь, въ кошорой на извѣстныхъ страницахъ галерные невольники и приговоренные къ смерти. Наканунѣ да-

юшь ему знашь, что шакаго-шо должно будешь ему утѣшашь на другій день въ опредѣленный часъ; онъ спрашиваетъ, галерный невольникъ или осужденный на казнь естъ сей преступникъ? прочишываетъ нужную страницу, и приходишь. Такимъ образомъ и шѣ, кошорыхъ влекушь на Гревскую площадь, не возбуждаюшь къ себѣ въ немъ никакого участія, равно и онъ не производишь на нихъ ни малаго впечатлѣнія.

О! Пущь же, вмѣсто его, приведуть ко мнѣ молодаго викарія, спараго приходскаго Священника, какаго нибудь, безъ разбора, изъ первой церкви, какая вспрѣшишся; пущь, заспануть его нечаянно у каминна, съ книгою въ рукахъ, и скажущь ему: Опець Свяшый, не откажись подкрѣпить одного приговореннаго къ смерти, не откажись бышь при немъ и тогда, какъ спануть связывашь ему руки, и тогда, какъ будущь опрѣзывать ему волосы; сядь въ его телегу съ Распяшіемъ, и скрой опъ него палача, шрясись вмѣстѣ съ нимъ по мостовой до Гревской площади, поѣзжай вмѣстѣ съ нимъ посреди шолпы, обними его у подножія эшафота, и останься при немъ, пока голова его будешь здѣсь, а шѣло шамъ. И пущь ведущь его ко мнѣ, объяшаго шрепешомъ, облишаго хладомъ съ ногъ

до головы; я брошусь въ его объятія, къ его ногамъ, и онъ заплачетъ, и мы оба заплачемъ, и онъ будетъ краснорѣчивъ, и я буду ушѣшенъ, и сердце мое изольется къ нему въ грудь, и онъ приметъ мою душу, и въ меня изыдетъ его Богъ.

Но что для меня добрый старецъ сей? Что для него я? Одинъ изъ несчастныхъ, одна изъ шѣхъ шѣней, къ которымъ онъ уже приглядѣлся, единица, слѣдующая въ до-
полненіе къ цифрамъ казней.

Я чуждаюсь его можешь быть несправедливо; онъ добрый христіанинъ, а я злодѣй. Увы! Роковое дыханіе мое заражаетъ и мрачитъ всё.

Мнѣ принесли кушанья; думають, что у меня должны быть похребности. Споль вкусный и изысканный, кажется, цыценокъ и еще другія блюда. Я покушался ѣсть; но, на первомъ кускѣ, выпало всё у меня изъ рта, сполько-то горькою и смрадною показала мнѣ пища.

XXXI.

Ко мнѣ вошелъ одинъ незнакомецъ въ шляпѣ, едва поглядѣлъ на меня, потомъ открылъ фушъ, и началъ мѣрять съ низу до верху камни на спѣнѣ, говоря весьма громко по: *такъ*, по: *не такъ*.

Я спрашивалъ у жандарма: что это за человекъ. Кажется, онъ долженъ быть изъ рода архисекторскихъ помощниковъ, состоящихъ при тюремѣ:

И я возбудилъ въ немъ любопытство. Онъ переговорилъ слегка съ тюремнымъ ключникомъ, который сопровождалъ его, потомъ съ мишушу посмотрѣлъ на меня прищадно, покачалъ головою съ наружною безпечношью, и опять спалъ говоришь громко, и вымѣрять.

Окончивъ свою работу, онъ подошелъ ко мнѣ, сказавъ мнѣ рѣзкимъ голосомъ: другъ мой, черезъ шесть мѣсяцевъ, шюрма эта улучшился во многомъ.

Онъ сказалъ сіи слова съ пою ужимкою, копорая, казалось, присовокупляла: ты не воспользуешься этимъ, жаль.

Онъ почти улыбался. Мнѣ казалось, что онъ слегка издѣвался надо мною, какъ шушать надъ молодой новобрачною вечеромъ, въ день ея свадьбы.

Мой жандармъ, старый солдатъ съ деревянною ногою, взялся опивчашь. Такъ громко, сударь, сказалъ онъ ему, не говорясь въ комнашѣ гошовацагося къ смерти.

Архитекшоръ ушелъ. А я, я удобо-
лялся одному изъ камней, кошорья онъ вы-
мѣривалъ.

XXXII.

Пошомъ вспрѣпился со мною смѣшнѣйшій случай.

Моего жандарма, добраго шарика смѣнили, а я, какъ неблагодарный, какъ самолюбецъ, и не пожалъ ему руки. На мѣсто его пославлень ко мнѣ другій человекъ со впалымъ лбомъ, съ бычачьими глазами, съ глупою наружносшью.

Впрочемъ, я не обращалъ на всё сие никакого вниманія. Я сидѣлъ у сполы задомъ къ двери, перъ чело свое рукою, и умъ мой былъ въ волненіи.

Вдругъ кто-то ударилъ меня по плечу; я оборотился и увидѣлъ новаго жандарма: мы были съ нимъ вдвоемъ.

Онъ началъ говоришь со мною такимъ образомъ, или, по крайней мѣрѣ, сходно съ симъ:

— Ареспаншь, у шебя доброе сердце?

— Нъшь, сказала я ему.

При семъ холодномъ ошвѣшѣ, онъ, по видимому, смутился; однако началъ опяшь говоришь, заикаясь:

— Иногда дѣлаюшь зло, не изъ желанія вредить.

— Почему? возразилъ я. Если только это и было у тебя сказать мнѣ, по оставь меня.

— Не гнѣвайся, арестантъ мой, отвѣчала онъ. Еще только два слова. Вошь въ чемъ дѣло: если бы ты могъ сосланишь счастье бѣдняка, и это не стоило бы для тебя ничего, развѣ ты не сдѣлалъ бы того?

— Я пожалъ плечами. Да ты не изъ дома ли сумасшедшихъ? Въ спраннымъ судѣ надѣешься почерпнуть счастья. Мнѣ сдѣлать когонибудь благополучнымъ!

Онъ понизилъ голосъ, и принялъ таинственный видъ, который, при глупой наружности его, былъ ему совсѣмъ не ксшати.

— Да, арестантъ, да, благополучнымъ я. богатымъ! И счастье и богатство придуть мнѣ опъ тебя. Вошь какимъ образомъ: я бѣдный жандармъ. Служба тяжела, жалованье не велико; лошадь у меня своя, и раззоряетъ меня. Чтобы вознаградишь себя, я беру лотерейные билеты. Надо же чѣмънибудь промышлять. Донынѣ, для выигрыша недоставало мнѣ только хорошихъ номеровъ. Вездѣ ищу вѣрныхъ чиселъ: а все попадаю на тѣ, которые рядомъ съ ними. Беру 76, выходишь 77. Сколько ни заманиваю, а выигрышныхъ никакъ не дождусь. . . — Подождише немного, прошу васъ;

я ужь близко къ концу. Вотъ для меня славный случай. Кажется, арестантъ мой, не во гнѣвъ вамъ будь сказано, сегодня вы переходите отсюда. Известно, что умирающіе такую смертію знаютъ напередъ, какіе билеты выигрываютъ. Общайтесь придти завтра вечеромъ, чего стоить вамъ это! и дашь мнѣ три номера, всѣ хорошіе. Гм? Не безпокойтесь. Я не боюсь мертвецовъ. Вотъ гдѣ я живу: въ Попинкурскихъ казармахъ, на лѣстницѣ А, Но. 26, въ концѣ корридора. Вы найдете меня, не правда ли! Приходите пожалуй хоть сегодня вечеромъ, если въ это время вы свободны.

Я не удостоилъ бы глупца сего опрѣшомъ, если бы безумная надежда не мелькнула въ моей головѣ. Въ шакомъ опчаянномъ положеніи, въ какомъ былъ я, иногда думаешь перервать цѣпь волоскомъ.

— Послушай, сказала я, дѣлая изъ себя комедіанта, сколько можно принимаешь на себя такой видъ человѣку, готовящемуся къ смерти, въ самомъ дѣлѣ я могу сдѣлать шебя богатые Короля, доставить тебѣ милліоны, но съ условіемъ.

Онъ выпарацилъ глаза, какъ дуракъ.

— Съ какимъ? Съ какимъ, я на всё готовъ, мой арестантъ.

Вмѣсто трехъ номеровъ, объяваю тебѣ четыре. Обмѣняйся со мною плащемъ.

— Только эшо! вскричалъ онъ, опшсегивая верхнія пуговицы на своемъ мундирѣ.

Я вспалъ со своего спула. Я слѣдилъ всѣ его движенія, сердце во мнѣ билось; я видѣлъ уже, какъ передъ жандармскимъ плащемъ опшворялись вороша, я видѣлъ уже и площадь, и улицу, и домъ Палашы позади себя!

Но онъ оборотился съ нерѣшимельнымъ видомъ: Ахъ да! вѣдь эшо не для того, чшобъ уйши опсюда?

Я увидѣлъ, чшо всѣ поперяно; однако рѣшился на послѣднее средство, совершенно бесполезное и весьма безразсудное!

— Конечно, сказала я ему! но счастье швое несомнѣнно. . .

Онъ прервалъ меня.

— Чшо я? Нѣшъ, а мои номера! Чшобы имъ выиграшь, вы должны умереть.

Я опять сълъ, не говоря ни слова, и сдѣлавшись безнадежнѣе прежняго.

XXXIII.

Я закрылъ глаза руками, и старался заглушать настоящее прошедшимъ. Я мечтаю, воспоминанія моего дѣтства и молодости являющіяся ко мнѣ одно за другимъ; онѣ пріятны, тихи, веселы, какъ острова изъ цвѣтовъ на морѣ черныхъ и смутныхъ помышлений.

Я вижу себя опять ребенкомъ, веселымъ и румянымъ школьникомъ, вопль я играю, бѣгаю, кричу съ поварищами своими въ большой зеленой алеѣ того дикаго сада, въ кошоромъ протекли первые мои годы, вижу древнюю монастырскую ограду, надъ кошорой возвышается свинцовымъ челомъ своимъ мрачный куполь Валь-де-Граса.

Прошло четыре года, и вотъ я всё еще дитя, но уже задумчивъ и спрашенъ. Въ уединенномъ садѣ есть дѣвушка, маленькая Испанка.

У ней большіе глаза, длинные и густые волосы, смуглая и свѣтлая кожа, розовыя уша, алыя щеки. Сія дѣвушка Андалузка, четырнадцать лѣтъ, по имени Пепи.

Матери наши послали насъ бѣгать вмѣстѣ: мы гуляемъ.

Намъ велѣли играть, мы разговариваемъ, дѣши одинакихъ лѣтъ, но разнаго пола.

Между шѣмъ, съ годъ назадъ, мы бѣгали, боролись между собою. Я бранивался съ Пепинькой за лучшее яблоко; биваль ея за пшичье гнѣздо. Она плакала: я говорилъ: по дѣламъ! и мы оба ходили вмѣстѣ жаловаться другъ на друга нашимъ маменькамъ, которыя вслухъ бранили насъ, а внутренно радовались.

Теперь, она опирается мнѣ на плечо; и я выступаю важно, я распроганъ. Мы идемъ медленно, говоримъ тихо. Пепя роняешь плашокъ; я поднялъ его, и подаю ей. Руки наши встрѣчаются и дрожатъ. Она говоритъ мнѣ о пшичкахъ, о звѣздочкѣ, которая сверкаетъ вошь тамъ, о багрянномъ западѣ за деревьями, или о своихъ пенсіонныхъ подругахъ, о своемъ плащѣ, о своихъ лентяхъ. Все это совершенно невинное, а мы оба краснѣемъ. Дѣвушка сдѣлалась дѣвицей.

Въ июнь вечеръ, это было лѣтомъ, вошь мы подъ каштановыми деревьями, въ концѣ сада. Мы молчали долго, что почти всегда случалось съ нами, во время нашихъ прогулокъ; вдругъ она вырвалась отъ меня, и сказала: побѣжимъ!

Я ее еще вижу, она была вся въ черномъ, въ праурѣ по своей бабкѣ. Ей пришла дѣшская мысль, Пепя сдѣлалась опять Пепинькой, она сказала: побѣжимъ!

Она пустилась бѣжать передо мною; я вижу спань ея; онъ также шонокъ, какъ у пчелы; она бѣжитъ; плашье вѣшь, изъ подъ него выславляешся порою до половины ея ножка. Я гнался за нею, она бѣжала ошь меня; вѣшерокъ поднималъ по временамъ ея черную косынку, и выказывалъ смуглую и полную шею.

Я былъ внѣ себя. Я догналъ ее у спараго развалившагося колодца, схватилъ поперегъ шѣла, по праву побѣдителя, и посадилъ на дерновую скамью; она не прошивилась, едва переводила дыханіе, и смѣялась: а я молчалъ и глядѣлъ на черныя зрочки красавицы сквозь черныя ея рѣсницы.

— Садись здѣсь, сказала она мнѣ. Еще совсѣмъ свѣпло, спанемъ чашашь чшо нибудь. Есть ли у тебя книга?

У меня была вшорая часшь пушешествій Спаланцини. Я ошкрылъ на удачу, подвинулся къ ней, она оперлась плечомъ своимъ на мое плечо, мы спали чашашь одну и шу же спраницу, каждый про себя. Она дочипывала всегда прежде меня, но не перевершывала листка, пока я не оканчивалъ чшенія спраницы. Умъ ея соображалъ скорѣе моего. Дочипалъ ли шы? говорила она мнѣ, когда я едва еще начиналъ спраницу.

Между шѣмъ мы касались другъ друга головами, волосы наши перемѣшивались между собою; дыханія у насъ мало по малу сближались одно съ другимъ, и вдругъ мы соединились уснами.

Когда хошѣли мы продолжашь чпеніе, небо было уже всё усыяно звѣздами.

— Маменька, маменька, сказала она, возвращаясь домой, при самомъ входѣ, еслибъ знала шы, какъ мы набѣгались!

Я молчалъ. Ты не говоришь ничего, сказала мнѣ машушка, шы задумчивъ. Въ моемъ сердцѣ былъ рай.

Этого вечера не забуду я во всю свою жизнь.

Во всю свою жизнь!

XXXIV.

Били часы, не знаю; сколько разъ: не могу разслушать ихъ боя. Опъ волненія послѣднихъ моихъ мыслей, въ моихъ ушахъ какъ будто шумъ органа.

Въ сіи оспальныя минушы, я углубляюсь въ свои воспоминанія, и встрѣчаю въ оныхъ съ ужасомъ свое злодѣйство; но я желалъ бы еще болѣе мучиться раскаяніемъ. До объявленія мнѣ смершнаго приговора, совѣсть угрызала меня сильнѣе: послѣ того, я предался весь размышленіямъ о смерти. Впрочемъ, я хошѣлъ бы принести глубокое раскаяніе.

Подумавъ нѣсколько времени о минувшихъ дняхъ моей жизни, и попомъ воображая ударъ сѣкиры, долженствующій вскорѣ прекрашнть оную, я пугаюсь, какъ будто чего новаго. Прекрасное мое дѣшство! Прелесная юность моя! Злашая пкань съ концемъ, обогреннымъ кровію. Между прошедшимъ и наспоющимъ рѣка крови, крови моей и другаго.

Если будущъ чншаешь нѣкогда мою исторію; шо, послѣ столь многихъ лѣшь невинности и счастья, покажется невѣрояшнымъ роковой годъ, начинающійся пресшуп-

леніємъ, и оканчивающійся казнію: эшо будешъ нескладно.

При всемъ шомъ, я не былъ злодѣемъ.

О! Чрезъ нѣсколько часовъ я умру, а за годъ предъ симъ, въ эшошъ день, не я же ли былъ чистъ и на свободѣ, не я ли наслаждался своими осенними прогулками, не я ли блуждалъ подъ деревьями, не я ли ходилъ въ гущошѣ лисшьевъ!

XXXV.

Въ сію самую минушу, возлѣ самага меня, въ самыхъ сихъ домахъ, окружающихъ Палашу и Гревскую площадь, и въ цѣломъ Парижѣ, люди уходящъ и возвращающся, разговаривающъ и смѣющся, читающъ журналы, заботящся о своихъ дѣлахъ; купцы шоргующъ, молодыя дѣвушки гошоващъ себѣ къ сегодняшнему вечеру плашья; машери играющъ со своими дѣшьями!

XXXVI.

Помню, что однажды ходилъ я въ церковь Богородицы, смотрѣвъ колокола.

Войдя на шемную, крупную лѣспницу, миновавъ галерею, соединяющую обѣ башни, видѣвъ Парижъ у себя подѣ ногами, я былъ уже въ безпамятствѣ; вдругъ захожу въ клѣшку изъ камня и тѣса, въ коей висѣлъ колоколъ со своимъ языкомъ, вѣсящій тысячу фуншовъ.

Я шель впередъ, содрогаясь на разсвѣщемся полу, смотря издали на сей колоколъ, столь славящійся въ Парижѣ у дѣшей и посреди народа, и замѣчая съ ужасомъ, что навѣсы, покрышыне досками, копорыя окружаюшь колоколъ наклонными боками своими, спояли вровень съ моими ногами. Въ промежуткахъ спѣнь, я видѣлъ, нѣкопорымъ образомъ на разспояннн высошы ппичьяго полеша, папершь церкви Богородицы, и прохожихъ въ видѣ муравьевъ.

Вдругъ огромный колоколъ грянулъ, сильный ударъ попрыасъ воздухъ, тяжелая колокольня закачалась. Полъ поднимался на спропилахъ. Ошь шума, я едва не упаль; я зашашался, ноги подкосились, я готовъ уже былъ ринуться на бока песовыхъ навѣсовъ. Ошь спраха, я легъ на доски, крѣпко сжалъ

ихъ обѣими руками, языкъ мой окоспенѣлъ, дыханіе во мнѣ прервалось, ужасный звонъ колокола поглотилъ весь мой слухъ, подъ очами моими зіяла бездна, глубоко подо мной мелькала площадь, на коей мирно шло счастливый народъ.

Мнѣ всё еще кажется, что я на колокольнѣ. Я и оглушенъ и ослѣпленъ. Нѣдра моего мозга какъ бы потрясены колокольнымъ звономъ; я выпушилъ уже изъ круга всеобщей и мирной жизни, и прочіе люди, обращающіеся въ ономъ, являющія мнѣ вдали и какъ бы въ ущеліяхъ пропасти.

XXXVII.

Городская Рапуша есть зданіе спращное.

Она споишь на равной черпъ съ Гревомъ. Оспроконечная и крушая кровля, колоколенка спраннаго вида, большіе бѣлые солнечные часы, эшажи съ маленькими колоннами, множесство оконъ, испопшанныя дѣспницы, съ правой и лѣвой спороны по двѣ арки, — вошь принадлежности Рапуши; она мрачнаго и унылаго вида, съ лица вся испочена спароспью, и такъ заржавѣла, что черна и на солнцѣ.

Въ день казни, изрыгаешь она жандармовъ изо всѣхъ ворошь, и спопришь на приговореннаго къ смерши изо всѣхъ своихъ оконъ.

Вечеромъ, солнечные часы, указавшія срочное время, пребываютъ лучезарными на мрачной ея наружности.

XXXVIII.

Четверть втораго.

Вотъ что я чувствую теперь:

Въ головѣ сильная боль. Внутренность охладѣла, чело раскалилось. Встану ли я, наклонюсь ли, всё мнѣ кажется, что въ головѣ моей переливается какая-то влага, и ударяешь мозгъ мой объ черепъ.

Во мнѣ судорожная дрожь, и, по временамъ, перо выпадаетъ у меня изъ рукъ, какъ отъ гальваническаго удара.

Глаза у меня въспъ, какъ будто чадомъ.

У меня болятъ локти.

Еще два часа и сорокъ пять минутъ, и я выльчусь.

XXXIX.

Говоряшь, что такая смерть ничего; что она не мучительна, шика, мгновенна.

Что же сие шестинедельное шомление и непрерывная мука днем и ночью? Что такое спраданіе въ сей послѣдній день, который проходишь шакъ медленно и шакъ скоро? Что вся лѣшвица ишязаній, оканчивающаяся эшафомъ.

Развѣ это не есть спрадашь?

Не однѣ ли и шѣ же судорожныя муки сопряжены и съ ишеченіемъ крови, капля за каплею, и съ помраченіемъ ума, мысль за мыслию?

Да и кто увѣренъ въ шомъ, что такая смерть не мучительна? Кто сказалъ объ этомъ? Повѣствуюшь ли, чтобы опрубленная голова поднялась когда нибудь, вся въ крови, на край короба, и закричала народу: мнѣ не больно!

Приходилъ ли хоть одинъ убіенный благодарить, и говорилъ ли: Прекрасная выдумка. Держишесь ея. Механика хороша.

Нѣшь, ничего! Менѣе, чѣмъ въ минушу, менѣе, нежели въ секунду всё оканчивается. Пусть шакъ; но поставше себя мысленно на мѣсто приведеннаго на эшафомъ несчастливца, въ шу минушу, когда тяжелая сѣки-

ра, ниспадая, разрываетъ шло, разскаешъ
нервы, раздробляетъ позвонки... Но что я
говорю? Полсекунды, и боль миновалась...
Ужась!

Спранно, что я думаю непрерывно о Король. Что ни дѣлаю, какъ ни шрясу головою, 'какій-то безвѣстный голосъ швердишь мнѣ:

Въ семь же городѣ, въ сей самый часъ, недалеко отсюда, въ другихъ палапахъ, есть человекъ, котораго вся жизнь, изъ минушы въ минушу, есть слава, величїе, наслажденїе, упоенїе. Всѣ вокругъ его любовь, почтенїе, преданность. Въ присущствїи его, голосъ самый громкій спановишся шихимъ, и чело самое гордое преклоняется. И чшобъ въ сїю же минушу разрушился ужасный эшафотъ, чшобы всё было возвращено шебъ, жизнь, свобода, имѣнье, семейство, нужно шолько, чшобъ онъ подписалъ симъ перомъ семь буквъ на кускѣ бумаги, или чшобы хощъ кареша его вспрѣшилась съ швоей шелегою! А онъ добръ, и можешъ бышь помиловалъ бы шебя; но, увы! шому не бывашъ!

XLI.

Итакъ зачѣмъ бояшься смерти, не лучше ли ознакомишься съ сею ужасной мыслию, представляешь ее себѣ равнодушно. Что такое смерть? Чего пребуешь она? Разберемъ ее во всѣхъ значеніяхъ, разложимъ загадку, и заглянемъ зараньше въ могилу.

Мнѣ кажешся, что едва смежашся взоры мои, я увижу безпредѣльное сіяніе, бездны свѣта, въ которыхъ мой умъ будешь обращаться до безконечности. Мнѣ кажешся, что небо будешь сіять собственнымъ своимъ блескомъ, что звѣзды сдѣлаюшся на немъ темными пятнами, и, являясь шеперь для глазъ земнородныхъ злыми блѣспками на черномъ бархатѣ, покажущся тогда черными почками на златой шкани.

Или, можешь бышь, я буду падашь безпреспанно въ спрашныя, глубокія, мрачныя пропасти, наполненныя привидѣніями.

Или, можешь спашься, пробудясь послѣ удара, увижу я себя на какой нибудь плоской и влажной поверхности, спану пресмыкашья во мракѣ, и обращаешь около себя, какъ голова, которая кашится. Кажешся, что меня будешь носить сильный вѣсперь, и что я буду спалкиваешь въ разныхъ мѣстахъ съ другими кашающимися головами. Тамъ

и сямъ увижу я попоки и ручьи изъ неведомой и теплой влаги; всё будешь черно! Когда глаза мои обращающа къверху; они увидяшь одно небо тьмы, кошорая накроетъ ихъ густыми пеленами своими, а вдали, на концѣ, два столпа дыма, и столпы сіи покажуща чернѣ тьмы. Во мракъ носишься будешь красныя искорки; и, приближаясь, спанушь дѣлашься огненными пшпцами; — и шакова будешь вся вѣчнось.

Можетъ бытъ также, умершіе на Гревской площади сходящя въ извѣстное время, по темнымъ зимнимъ ночамъ, въ назначенномъ имъ мѣспѣ. Въ семь блѣдномъ и кровавомъ общеспвѣ и я не премину явишься. Луны не будешь, разговариваешь спанушь тихо. Здѣсь предшанешъ и Городская Рапуша, съ исшоченною своею наружносью, изрышою кровлею и солнечными часами, безжалоспными ко всѣмъ. На срединѣ будешь спояшь гильѣшина изъ ада, на кошорой демонъ предаешь казни палача. И мы въ свою очередь соберемся въ кружокъ.

Вѣрояшно, что это такъ и есть. Но если мерпвцы сіи возвращающа, шо въ какихъ видахъ? Что оспаеша имъ опъ неполнаго и изувѣченнаго ихъ тѣла? Кошорую половину его выбирающъ они? Голова или шуловище изображающъ привидѣніе?

Увы! что дѣлаешь смерть съ душой нашею? Какія свойства оставляетъ она ей? Что можешь она опясть у ней или чѣмъ надѣлать ее? Куда помещаешь душу? Дашь ли она ей иногда глаза плохи, чтобы глядѣть на землю и плакать?

Ахъ! Священника! Священника, который зналъ бы это! Я пребую Священника, и хочу приложиться къ Распятію! Господи! Ты всегда всё шощь же!

XLII.

Я просилъ дашь мнѣ уснуть, и бросилъ ся на постелю.

Въ самомъ дѣлѣ, придивъ къ головѣ крови расположилъ меня ко сну, и я спалъ. Это мой послѣдній сонъ, шакаго рода.

Грезы овладѣли мною.

Мнѣ снилась ночь, я былъ въ своемъ кабинетѣ, съ двумя или тремя изъ моихъ пріятелей, не помню, кто они были.

Жена моя лежала въ спальнѣ, подлѣ кабинета; она спала со своимъ ребенкомъ.

Я перешепывался съ друзьями, и собственныя слова наши успрашали насъ.

Вдругъ, какъ будто слышался мнѣ шумъ гдѣ-то въ другихъ покояхъ: шумъ слабый, спранный, неизъяснимый.

Друзья мои слышали тоже. Мы спали прислушиваясь: казалось, ошворяли оспорожно замокъ, или подпиливали шихо желъзный запоръ.

Мы дрожали, не зная ошъ чего: намъ было спрашно. Мы думали, что, можешь быть, въ шоль позднюю пору, вошли ко мнѣ воры.

Мы рѣшились идти посмотреть. Я вспалъ, взявъ свѣчу: друзья мои пошли за мною, одинъ по одному.

Мы прошли спальню; жена моя спала со своимъ ребенкомъ.

Входимъ въ залу. Поршрешы висѣли неподвижно въ золошыхъ рамахъ своихъ на красныхъ обояхъ. Мнѣ показалось, что дверь изъ залы въ споловую была не на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ.

Вошь мы и въ споловой, обошли ее. Я шель впереди всѣхъ. Дверь на лѣспницу заперша была крѣпко, окна также. Подойдя къ печи, увидѣлъ я, что шкапъ съ бѣльемъ былъ опшерпъ, а дверь его ршкнуша на уголь спѣны, какъ бы для прикрышя онаго.

Эшо показалось мнѣ страннымъ. Мы думали, что кто нибудь пришайлся за дверью.

Я хотѣлъ запереть шкапъ; но дверь опъ спѣны не опходила. Въ удивленіи, я спшалъ пянущъ дверь крѣпче, она вдругъ опскочила, и мы увидѣли низенькую спаруху. Руки у ней висѣли, глаза были сомкнушы: она спшояла неподвижно, и какъ будто вдавлена была въ уголь спѣны.

Во всемъ эшомъ было что-шо опшрапшпельно ужасное, и, при одной мысли о семъ зрѣлищѣ, волосы мои спановаяшся дыбомъ.

Я спросилъ у спарухи: что ты дѣлаешь шущь?

Она не опвѣчала.

Я спросилъ у ней: кто ты?

Она не опвѣчала, не пошевелинулась и не открыла глазъ.

Друзья мои сказали: она вѣрно соучастница мошенниковъ, копорые были здѣсь; они ушли, послушавъ насъ; а она не успѣла убѣжашь, и спрясалась шущь.

Я спалъ спрашивашь ее опять, она пребывала безъ голоса, безъ движенія, безъ взора.

Одинъ изъ насъ толкнулъ ее, она упала.

Она рухнула всѣмъ шѣломъ, какъ кусокъ дерева, какъ нѣчто мершвое.

Мы пошевелили ее ногой, попомъ двое изъ насъ подняли ее, и опять прислонили къ стѣнѣ. Она не подала ни малаго знака жизни. Ей кричали въ ухо, она молчала, какъ глухая.

Мы шеряли шерпѣнїе, и спрахъ нашъ былъ не безъ досады. Одинъ изъ друзей сказалъ мнѣ: подшавъ ей подъ подбородокъ свѣчу. Я поднесъ къ лицу ея горящую свѣшильню. Она раскрыла немного одинъ глазъ; впалый, мершвенный, ужасный глазъ сей не глядѣлъ.

Я опнялъ огонь, и сказалъ: А! Теперь ужъ дашь ты опвѣшъ, спарая колдунья? Кто ты?

Глазъ закрылся, какъ будшо самъ собою.

Право, это уж не в силу, сказали другіе. Опять свѣчу! Опять! Надо же добиться отъ ней ошвѣта.

Я поднесъ опять огонь къ подбородку шарухи.

Туть спала она медленно открывашь оба глаза, посмошрѣла по очереди на всѣхъ насъ, попомъ, вдругъ наклонясь, задула свѣчу холоднымъ дыханіемъ. Въ ту же минушу почувшвовала я, что въ шемношѣ укусили меня въ руку при вострые зуба.

Я проснулся, весь дрожалъ и на мнѣ высунуилъ холодный пошъ.

Добрый Духовникъ сидѣлъ у меня въ ногахъ, и чиналъ молишвы.

Долго ли я спалъ? спросилъ я у него.

Сынъ мой, сказалъ онъ мнѣ, ты спалъ цѣлый часъ. Къ тебѣ приведи дочь швою: она дожидается въ сосѣдней горницѣ. Я не позволилъ будить тебя.

О? вскричалъ я. Здѣсь дочь моя! Ведите же ее ко мнѣ.

XLIII.

Она свѣжа, она румяна, у ней большіе глаза, она прекрасна!

Ей надѣли маленькое платьѣе, которое идетъ къ ней.

Я взялъ ее, поднялъ на руки, посадилъ къ себѣ на колѣна, поцѣловалъ въ голову.

Почему она не съ машерью?

Мать ея больна, бабка тоже.

Хорошо.

Она смопрѣла на меня какъ бы съ удивленіемъ. Я ласкалъ, обнималъ, пожиралъ ее поцѣлуями; она не прошивилась; но, по временамъ, взглядывала съ безпокойствомъ на свою няньку, которая стояла въ углу, и плакала.

Наконецъ я въ силахъ былъ говорить.

— Маша! сказала я, крошка моя Маша!

Я крѣпко прижималъ ее къ разшерзанной своей груди. Больно, сударь! сказала она.

Сударь! Скоро будешь годъ, какъ бѣдное дитя не видало меня. Она позабыла во мнѣ все, и лице, и слова, и голосъ: да и кто узнаешь меня съ шакой бороною, въ шакомъ платьѣе, съ такимъ блѣднымъ лицомъ? Какъ! Я уже измадился изъ ея памяти, въ кошорой одной и желалъ жить. — Какъ? Я ужь не отецъ! Мнѣ суждено не слы-

шашь болѣе того слова, слова изъ языка дѣшей, которое споль сладосшно, что не оспашся на устахъ взрослыхъ людей, слова: *Папенька!*

Ахъ! Въ замѣнъ опнимаемыхъ у меня всѣхъ сорока лѣтъ жизни, пусть уста сіи, еще одинъ разъ, одинъ полько разъ, скажутъ мнѣ то слово.

— Послушай, Маша, сказалъ я ей, и сложилъ ея ручки въ свои руки, развѣ не знаешь ты меня?

Она поглядѣла на меня прекрасными глазами своими, и опвѣчала: нѣтъ!

Вглядись хорошенько, повторилъ я. Какъ, ты не знаешь, кто я?

— Знаю, сказала она. Господинь.

Увы! Любишь горячо одно существо въ мірѣ, любишь его всею своею любовію, и видѣшь, какъ оно споишь предъ тобою, примѣчаешь себя, глѣдишь на себя, говоришь съ тобою, опвѣчаешь себя, и не знаешь себя! Желашь ушѣшенія опъ него одного, а ему и неизвѣсно, что себя нужно ушѣшеніе, что ты идешь на смерть?

— Маша, началъ я опянь говоришь, есть ли у тебя Папенька?

— Есть, сударь, сказала дитя.

— Гдѣ же онъ?

Она подняла большіе глаза свои съ выраженіемъ удивленія: Ахъ! Развѣ не знаете вы? Онъ умеръ.

Пошомъ она закричала, я едва не уронилъ ее.

— Умеръ! сказала я. Маша, знаешь ли ты, что значить умереть?

— Знаю, сударь, отвѣчала она. Онъ на землѣ и на небѣ.

И продолжала сама собою:

— Я молюсь за него Богу, упрямъ и вечеромъ, на кофѣнахъ у маменьки.

Я поцѣловаль ее въ лобъ. — Маша, прочитай мнѣ свою молитву,

— Нѣтъ, сударь, молитву не говорять днемъ. Пожалуйте къ намъ вечеромъ; я прочитаю ее.

Этого было довольно. Я прерваль ее.

— Маша? я твой Папенька.

— Вы, сказала она мнѣ.

Я примолвилъ: Хочешь ли, чтобы я былъ твоимъ Папенькой?

Ребенокъ опворошился. Нѣтъ, мой Папенька былъ лучше васъ.

Я осыпаль ее поцѣлуями, облиль слезами. Она спаралась вырваться изъ моихъ объятій, и кричала; борода ваша колется.

Я опустилъ ее къ себѣ на колѣна, не сводя съ нея глазъ, попомъ сшалъ спрашивать ее:

— Маша, умѣешь ли ты чипашь?

— Умѣю, опвѣчала она. Я чипаю хорошо. Маменька даешъ мнѣ чипашь свои письма.

— Посмотримъ, прочитай сколько нибудь, сказалъ я ей, указывая на смятую въ рученкѣ у ней бумагу.

Она покачала хорошенькою своей головкой. Нѣшь, я чипаю шолько басни.

— Ничего, попытайся, посмотримъ, чипай.

Она развернула бумагу, и начала складывать, водя по ней своимъ пальцемъ: — П, Р, И, при, Г, О, го, В, О, Р, Ъ, воръ, приговоръ. . . .

Я вырвалъ бумагу, у ней изъ рукъ. Она чипала мнѣ смершный приговоръ мой. Нянька ея купила объявленіе объ немъ за копѣйку. Мнѣ споидъ онъ дороже.

Нѣшь словъ для выраженія шого, что я чувспвовалъ. Испупленіе мое испугало малюшку; она почти плакала; вдругъ сказала мнѣ: Опдайше же мнѣ мою бумагу, я буду играть ею.

Я опдалъ ребенка нянькѣ. — Унесише его.

Мрачный, одинокій, опчаянный, я упалъ на стуль. Теперь должно бы придти за мною; всё связи мои разрушились; послѣдняя нишь въ моемъ сердцѣ порвана. Я го-жусь на шо, къ чему назначаюшь меня.

XLIV.

Священникъ добръ; шюремщикъ также добръ. Кажется, они прослезились, когда я сказалъ, чпобы унесли мою дочь.

Всё кончено. Теперь, несчастный! заключись въ самомъ себѣ, думай безъ страха о палачѣ, пелегѣ, жандармахъ, о скопищѣ на мосту, о скопищѣ на набережной, о скопищѣ у оконъ, и о томъ, что будешь собственнo для тебя на Гревской площади, копорую можно бы всю вымосшить падшими на ней головами.

Кажется, я могу ознакомливаться со смерстью еще цѣлый часъ.

XLV.

Народъ сбѣжился, раздася смѣхъ, за-
гремятъ рукоплесканія, клики радости; лю-
ди сіи на свободѣ, ихъ не сперегуть; они
стремятся съ радостію на мѣсто казни,
они не знаютъ, что между ними, въ числѣ
сихъ головъ, покрывающихъ площадь, не одна
голова, при самомъ рожденіи своемъ, обре-
чена скапиться, рано или поздно, вслѣдъ за
моею въ красный коробъ. Многіе изъ любо-
пытныхъ, приходящихъ на сіе мѣсто для
меня, придуть шуда для себя.

Для несчастныхъ сихъ сущесвъ еспь
въ извѣстной шочкѣ на площади Гревской
роковое мѣсто, центръ пришняженія, сѣшь.
Они кружатся вокругъ шайншвенной бездны
сей, до шѣхъ поръ, пока сваятся въ оную.

XLVI.

Крошка моя Маша! — Ее унесли; она играетъ, выглядывая изъ карещы на толпу народа, и позабыла обо мнѣ.

Можешь бышь успѣю еще я написать для ней нѣсколько страниць; пусть нѣкогда прочишаетъ она сіи спроки, и, равнодушная нынѣ, пусть плачетъ въ пятнадцать лѣтъ.

Такъ, отъ меня должна она узнать мою испорію, моя обязанность опкрышь ей, почему имя, кошорое я оставляю ей, запятнано кровію.

М О Я И С Т О Р І Я.

Примѣчаніе Издателя. Лисшковъ, имѣвшихъ сіе заглавіе, еще не опыскано. Можеть быть, приговоренный къ смерти не имѣлъ времени написать свою исторію, какъ видно изъ слѣдующихъ страницъ. Когда мысль сія пришла ему на умъ, было уже поздно.

XLVIII.

Изъ Городской Ратуши.

Изъ Городской Ратуши! . . . Ишакъ я уже здѣсь. Ужасный переѣздъ сдѣланъ. Передъ глазами у меня роковое мѣсто, а подъ окномъ спрашное скопище народа, онъ оглашаетъ воздухъ криками, и ждетъ меня, и веселится.

Какъ я ни укрѣплялся, какъ ни сжималъ свое сердце; но мнѣ сдѣлалось дурно. Два красные столба, съ чернымъ треугольникомъ на концѣ, возвышаются надъ головами, между двумя фонарями набережной: я гляжу на нихъ, и голова моя кружится. Я просилъ выслушать послѣднее мое показаніе. Меня привели сюда, и пошли за Королевскимъ Прокуроромъ. Я жду его; — хоть нѣсколько минушь лишнихъ.

Вопшъ било три часа, пришли сказать мнѣ, что пора. Я вздрогнулъ, какъ будто не имѣлъ времени приготовиться къ тому въ печеніи шести часовъ, шести недѣль, шести мѣсяцевъ. Мнѣ показалося, что я слышалъ нѣчто неожиданное.

Меня повели по корридорамъ и лѣстницамъ, втолкнули чрезъ двой дѣрцы въ нижній эшажъ, въ горницу со сводами, сумрачную, тѣсную, едва освѣщенную дождливымъ

и шуманнымъ днемъ. На срединѣ горницы былъ спуль. Мнѣ велѣли съспь, я съль.

У дверей и по стѣнѣ стояло нѣсколько человѣкъ, сверхъ Священника и жандармовъ, и находилось еще шрое.

Одинъ изъ нихъ былъ выше и старше другихъ, опличался своей полщиною и краснымъ лицомъ. На немъ было коропкое плашье и безобразная шреугольная шляпа. Онъ!

Палачъ, служитель гильёшины. Другіе двое его слуги.

Едва я съль, сіи послѣдніе подошли ко мнѣ сзади, какъ кошки, и вдругъ я почувствовалъ у себя въ волосахъ хладное осприе, и ножницы рванули мои уши.

У меня оспригали волосы, какъ попало; они падали клочками ко мнѣ на плеча, а человѣкъ въ шреугольной шляпѣ счищаль ихъ слегка шолстою своей рукою.

Кругомъ разговаривали шихо.

На улицѣ шумѣло, какъ будто волновался воздухъ. Сначала принималь я сей шумъ за журчаніе рѣки, но, по раздавшемуся хохошу, узналь я народное скопище.

Какой-то молодой человѣкъ, у окошка, писалъ карандашомъ на поршфели, онъ спросиль у одного изъ шюремщиковъ, какъ назывались дѣлавшіяся надо мною пригѣшовленія.

Туалетъ приговореннаго къ смерти, отвѣчалъ сей послѣдній.

Я поняла, что готовилась спашья для журнала.

Вдругъ одинъ изъ слугъ снялъ съ меня жилетъ, другой взялъ обѣ повисшія мои руки, скрушилъ ихъ за спиною, и я почувствовала, что около сдвинутыхъ кулаковъ моихъ спала обвивающаяся веревка. Въ то же время, еще одинъ слуга скидывалъ съ меня шейный платокъ. При видѣ бакишской рубашки моей, единой примѣшью, по коей можно еще было узнать меня, онъ какъ будто остановился, но вскорѣ началъ опрыскивать у ней ворошникъ.

При сей ужасной предосторожности, локти мои задрожали, — почувствовавъ прикосновеніе къ своей шеѣ желѣза, я захрипѣлъ, дыханіе во мнѣ спѣснилось. Простите, сударь, сказалъ онъ мнѣ! Не причинилъ ли я вамъ боли? Палачи предобрые люди.

Шумъ въ народѣ умножался.

Толстый мужчина, съ багровымъ лицомъ, подалъ мнѣ платокъ напишанный уксусомъ, говоря, чтобы я понюхалъ. Благодарствуя, вскричалъ я изо всѣхъ моихъ силъ, не надо, мнѣ хорошо.

Въ это время одинъ изъ нихъ наклонился и слабо связалъ мнѣ ноги тонкою ве-

ревкой, такъ, что я могу спускаться, но только узкими шагами. Обѣ веревки, и шу, копорая была на ногахъ, и шу, копорую связаны были мои руки, скрѣпили между собою.

Потомъ толстый мущина накиннулъ мнѣ на спину жилешъ, и связалъ руки подь моимъ подбородкомъ. Симъ кончились первоначальныя приготовления.

Священникъ подошелъ ко мнѣ съ Распятиемъ: Пойдемъ, сынъ мой! сказалъ онъ мнѣ.

Прислужники взяли меня подь руки; я вспалъ и пошелъ; шаги мои были медленны, ноги подгибались, какъ будто на каждой изъ нихъ было по два колѣна.

Въ сію минушу наружная дверь расхлопнулась. Изступленный крикъ, холодный воздухъ и бѣлый день ворвались ко мнѣ въ шемношу. Изъ средины дверей, увидѣлъ я однимъ разомъ тысячи воцѣющихъ головъ народа, взгроможденныхъ другъ на друга по большой лѣспницѣ Палаты; на правой сторонѣ, вровень съ порогомъ, рядъ жандармскихъ лошадей, копорыхъ только переднія ноги и грудь видны были изъ нижнихъ дверей; на прошиволежащей сторонѣ, опрядь солдатъ подь ружьемъ; налѣво, задь шелеги, къ коему прислонялась шуго напянушая лѣсп-

ница. Ошврашительная карпина, для коей дверь шюрмы была самою приличной рамою!

Для сей-то спрашной минушты берегъ я свое мужество. Я сдѣлалъ при шага, и очушился на порогъ.

— Вошь онъ! Вошь онъ! кричала шолпа. Наконецъ, дождались! И споявшіе ближе прочихъ ко мнѣ хлопали руками.

Меня дожидалась преспая шелега, съ сухощавою лошадыю, и ямщикъ въ парусинномъ армякѣ голубаго цвѣша съ красными узорами, какъ одѣвающся огородники изъ окрешносшей Бисепра.

Толсшый мушина въ преугольной шляпѣ сѣлъ напередъ. Здравствуйше, Господинъ Самсонъ! кричали ребяшишки, повиснувъ на желѣзныхъ рѣшешкахъ. За нимъ слуга. Славно, Марди! кричали ояшь мальчишки. Они оба сѣли впереди.

Дошла очередь до меня: я взлѣзь на шелегу довольно швердо. Онъ не робѣешь! сказала одна женщина, споявшая возлѣ жандармовъ. Сія жеспокая похвала прибавила мнѣ духа. Священникъ сѣлъ подлѣ меня. Я былъ посаженъ назади, спиною къ лошади. Такая послѣдняя внимательность заспавила меня содрогнушься.

И здѣсь ешь человеклоубіе.

Я хотѣлъ поглядѣшь вокругъ себя: жандармы впереди, жандармы позади; попомъ народъ, народъ, народъ: море головъ на площади.

Карауль конныхъ жандармовъ ожидалъ меня у Палашы, въ дверяхъ рѣшетчатой ограды.

Офицеръ скомандовалъ. Телега, со всеми своими провожаемыми, двинулась, какъ бы погнанная впереди силою народного вопля.

Миновали рѣшетку. Едва поворочила телега къ Мѣновому Мосту, всё пространство мостовой и до кровель огласилось шумомъ, и мосты и набережныя ошозвались, какъ бы во время землетрясенія.

Здѣсь карауль соединился съ провожаемыми.

— Шляпы долой! Шляпы долой! кричали тысячи голосовъ.

Тогда и я ужасно усмѣхнулся, и сказалъ Священнику: Съ нихъ шляпы; съ меня голову?

Шествіе продолжалось медленно.

Набережная, гдѣ продають цвѣшны, благоухала (погда былъ торговый день). Торговки оставили свои букеты, чтобы поглядѣшь на меня.

На противоположной сторонѣ, близъ четвероугольной башни, образующей уголъ Палашы, находящяся пищежныя дома: въ нихъ

на верхахъ было множество зритель, которые, особенно женщины, не могли нарадоваться своимъ прекраснымъ мѣстамъ. Такой день вѣроятно принесъ пишейнимъ продавцамъ изрядный барышъ.

Откупали сполы, спуля, подмоспки, шелеги. Всѣ покрыто было зрителями. Продавцы человѣческой крови кричали изо всей мочи: Кому надо мѣсь? — Народъ эшопъ взбѣсилъ меня. Мнѣ хошѣлось закричать имъ: Не угодно ли моего?

Между шѣмъ шелега всё шла впередъ.

Съ каждымъ шагомъ ея, сопровождавшая оную шолпа рѣдѣла, и я видѣлъ въ испусленіи, какъ народъ обгонялъ меня, и спановился на другихъ мѣстахъ, по коимъ надлежало мнѣ проѣзжать.

Вступая на Мѣновый Мосъ, я оборотился случайно назадъ, и взглянулъ вправо. Взоръ мой остановился на другой набережной, надъ домами, на уединенной, покрытой рѣзьбою, черной башнѣ, на вершинѣ копорой увидѣлъ я съ боку двухъ чудовищъ изъ камня. Не знаю, для чего спросилъ я у Священника, что это за башня. Яковлева Бойня, отвѣчала палачъ.

Не понимаю, какимъ образомъ, въ гололедицу, въ шонкой, сырый дождь, отъ котораго рыбѣлъ воздухъ, какъ будто поддер-

нушый паушиной, ничшо изъ производившаго кругомъ меня не ускользнуло опъ моего вниманія. Всякая мѣлочъ мучила меня по своему. Для ощущеній моихъ нѣтъ словъ.

Я ужаснулся, увидя, что Мѣновый Мостъ, при всей ширинѣ своей, былъ запопленъ народомъ, и что мы съ большимъ трудомъ пробрались по оному. Я едва не упалъ въ обморокъ, послѣдняя слабость! Собравшись со всеми силами, я окаменилъ самъ себя, спараясь не видѣть и не слышать ничего, предавшись весь вниманію къ словамъ Священника, которыя съ трудомъ могъ я разслушивать, сполько-то заглушала ихъ шумъ народа.

Я взялъ и поцѣловалъ Распятіе. Боже мой, воззвалъ я, умилосердись надо мною! и спарался весь углубиться въ сію мысль.

Но каждый толчокъ пряской шелеги возвращалъ меня къ существенности. Внезапно почувствовалъ я сильный холодъ. Дождь пробилъ мое платье, и сквозь обсприженные и короткіе волосы, кожа на головѣ моей обмокла. Ты дрожишь опъ спужи, сынъ мой? спросилъ Священникъ. Да, отвѣчала я. Увы! не опъ одной спужи.

При поворотѣ съ моста, я слышала, какъ женщины жалѣли моей молодости.

Мы повхали вдоль роковой набережной. Я начинала уже ничего не видѣть и не слы-

шашь. Голоса, головы у оконъ, у воротъ, у лавокъ, на фонарныхъ столбахъ, любопытные и жестокіе зрители, толпа народа, въ кошорой я извѣстенъ былъ всѣмъ, и никого не зналъ, дорога, лицами человѣчески-ми вымощенная и закладенная. . . Я былъ въ жару, въ оцѣпенѣніи, въ безуміи. Столько глазъ и всѣ на меня. Невыносимое бремя!

Я качался на пелегъ, не обращая уже вниманія даже на Священника и Распятіе.

Въ объявшемъ меня шумѣ, не различалъ уже я криковъ сожалѣнія, оцѣнокъ восклицаній радости, смѣха оцѣнокъ шума, всё это отдавалось въ моей головѣ, какъ звонъ мѣди.

Я чиналъ вывѣски надъ лавками, не понимая словъ,

Одинъ разъ, по спранныму любопытству, хотѣлъ я повернуть голову, и посмотрѣть, куда мы подѣзжали. Последнее напряженіе моего ума! Но шло не повиновалось, зашелокъ мой окоснѣлъ и какъ бы напередъ пораженъ былъ мертвенностію.

Я разглядѣлъ только въ сторону, на лѣво, за рѣкою, колокольню церкви Богородицы; за нею была другая колокольня, та самая, на кошорой флагъ. Тамъ толпилось много людей, и всѣмъ имъ было видно хорошо.

И шелега всё вѣхала, вѣхала, и лавки мелькали, и вывѣски смѣнялись одна другою, писанныя, крашенныя, позолоченныя, и чернь валялась и гнѣздилась въ грязи, и я давалъ себя везти, какъ сонныя предающся на волю грезамъ.

Вдругъ рядъ лавокъ, занимавшій мое зрѣніе, пресѣкъся на углу площади; голосъ народа сдѣлался еще проспраннѣе, еще прозвѣшнѣе, еще радостнѣе; шелега внезапно останоуилась, и я едва не упалъ ницъ на доски. Священникъ поддержалъ меня.

— Мужайся! прошепсаль онъ. Подспавили сзади шелеги лѣспницу; онъ подаль мнѣ руку, я сощель, сдѣлаль шагъ, попомъ, на поворощѣ, хощѣль спупитъ еще разъ, и не могъ. На набережной между двумя фонарями, я увидѣль ужасное.

И это существенность!

Я останоуился, какъ бы колеблясь уже ошъ удара. — Позвольше сдѣлать послѣднее завѣщаніе! слабо вскрикнуль я.

Меня введи сюда.

Я просиль позволенія изложитъ послѣднюю свою волю письменно. Мнѣ развязали руки; но веревка всё здѣсь, совсѣмъ гошова, а прочее внизу.

Ц.

Кшо-то прищель, не знаю, Судья ли, или Коммиссарь, или какой нибудь высшій чиновникъ. Я спаль просишь у него прощенія, оложивъ обѣ руки, и ползь за нимъ на обѣихъ колѣнахъ. Онъ отвѣчалъ мнѣ съ роковою улыбкою: полько это желали вы сказать?

— Пощадите! Поощадите! повторишь я, или, сжалъсь, еще хошь пляшь минушь!

Какъ знашь? Можеть бышь придешь мнѣ прощеніе! Въ мои льпа умирашь шакъ ужасно? Не рѣдко случалось, что прощеніе получали въ послѣднюю минушу. А кшо болѣе меня заслуживаетъ милосердіе.

Палачъ, о чудовище! подошелъ къ Судья, и сказалъ ему, что для казни опредѣленъ извѣстный часъ, что срокъ сей приближался, что отвѣшпвенность лежала на немъ; что сверхъ того шелъ дождь, и что отъ этого желъзо можеть заржавѣть.

Ахъ! Ради Бога, дайше хошь минушу подождать прощенья! Или я стану отбиваться, буду кусать!

Судья и палачъ ушли. Я одинъ. Одинъ съ двумя жандармами.

О ужасный народъ, съ своимъ звѣрскимъ крикомъ! Какъ знашь? Можеть бышь мнѣ

удастся отъ него скрыться? Можешь бышь
я спасуеь? Можешь бышь прощеніе!... Не-
возможно, чшобъ не просили меня!

Ахъ! Варвары! Кажется, идушь на
лѣсшницу. . . .

Четыре часа.
